

4'2009
Октябрь-декабрь

Литературная Армения

Издается с декабря 1958 года

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Союза писателей Армении и Союза армян России

Նայասրանի գրողների միության և Ռուսասրանի հայերի միության
գրական-գեղարվեստական և հասարակական-քաղաքական հանդես

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

<i>Тригор Джаникян.</i> Время возвращения. Эпистолярная повесть. Окончание. Перевод Дж.Мирзоян.....	3
<i>Рачья Тамразян.</i> День освящения винограда. Стихи. Перевод В.Пальчикова.....	51
<i>Сусанна Арутюнян.</i> Весна по наследству. Облегчи боль, господи.. Рассказы Перевод Н.Абрамян.....	55
<i>Турген Баренц.</i> Горы Армении. Стихи.....	65
<i>Тельман Маилян.</i> Осенняя нива. Наш дом. Рассказы. Перевод Н.Мкртчян.....	69
<i>Вардан Ванатур.</i> Из книги "И будет свет". Стихи. Перевод А.Татевосян.....	79

<i>Анаит Топчян. Зеркало. Возмездие. Рассказы.....</i>	82
<i>Нанэ. Страница. Стихи. Переводы А.Татевосян, К.Лазаревой.....</i>	96
<i>Джюльетта Мелик-Мартirosян. Плюшевый альбом. Рассказ-быль.....</i>	100
<i>Эдвард Ахвердян. У постели больного моря. Стихи. Перевод Г.Баренца.....</i>	105
<i>Армянское зарубежье</i>	
<i>Захрат. Толика счастья. Стихи. Вступительное слово и перевод Г.Кубатьяна.....</i>	109

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Эрнест Григорьян. Посткризисный мир и диаспора.....</i>	117
<i>Нелли Саакян. "В Хороссане есть такие двери...".....</i>	134
<i>Арус Агаронян. Открытие Америки, или Абрикосовый пирог.....</i>	150
<i>Елена Скворцова. Живые картины Анны Абамелек.....</i>	160
<i>Содержание журнала за 2009 год.....</i>	188

Журнал издается при поддержке государства

Альберт НАЛБАНДЯН

Главный редактор

Сергей МУРАДЯН

Заместитель главного редактора

Жанна ШАХНАЗАРЯН

Отдел прозы

Ирина МАРКАРЯН

Отдел очерка и публицистики

Григор Джаникян
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
 Эпистолярная повесть
 Окончание
Перевод Дж. Мирзоян

Тигранакерт
 1 сент., 05

Тигранакерт, Диарбекир, Амид — в какой из этих городов мы едем и вообще, куда мы держим путь? Земля горного этого края с гигантскими волнами застывших лавовых извержений похожа на поле брани. Одна за другой по шоссе следуют бронемшины. Из них то и дело выпрыгивают на дорогу вооруженные автоматами солдаты в касках. Они останавливают нас, обстоятельно обыскивают автобус. Более всего их удивляет то, что мы армяне и что едем в Диарбекир, в Курдистан, как они говорят. На проходном пункте у села Гюлизар какой-то турецкий офицер собрал наши паспорта, выяснил с помощью компьютера, кто есть кто, вернувшись, стал отговаривать, взывал к нашему благоразумию, намеревался было отправить обратно, но в конце концов махнул на нас рукой и пожелал нам доброго пути. Если вы все еще не знакомы с вашими врагами, сказал он, давайте езжайте, там и познакомитесь. Едем и не понимаем: так кто же наши враги? А друзья?..

Распростертая перед нами равнина уходит в необозримую даль, сливаясь где-то с горизонтом. Земля пышет жаром. Духота неимоверная. Жгучее солнце иссушило чернозем, опалило пышные грядки и подслащивает зреющий на них арбуз. Тот самый прославленный арбуз, который, по рассказам тигранакертцев, невозможно было поднять с земли: его на месте делили на части, и каждый кусок с трудом умещался в хурджине вьючного осла. Или переправляли на верблюдах, не более двух арбузов на каждом.

Вахтанг Ананян упоминает о более неправдоподобном случае. После устроенной Гамидом* резни, случилось, пришел в их деревню беженец по имени Тигран. Как-то раз, попробовав на

* Окончание. Начало в №3, 2009 г.

* Абдул Гамид II (1842-1918 гг.) — турецкий султан, организовал резню в Западной Армении в конце 19-го века.

вкус дикие сморщенные груши, начинает он петь славу фруктам родного Тигранакерта, особые похвалы расточает он дыне:

— Наши дыни своими размерами могут поспорить с грудями скошенной вами травы. Если сядешь верхом, ноги не дотянутся до земли. Ну а до чего сладкие, словами не передать.

Погоскилисцы, ясно, не верят ему, смеются, подтрунивают над ним. И однажды Тигран исчезает. Погоскилисцам не по себе от того, что беженца обидели, но спустя три месяца Тигран появляется вновь. Собрав на току всю деревню, он достает из мешка огромный, величиной с бычьей шкуру пакет, открывает его и, разостлав по земле, говорит:

— Чтобы доказать вам свою правоту, я, рискуя жизнью, отправился в Тигранакерт и привез оттуда кожуру одной, только одной дыни. Судите сами, коль кожа такая огромная, какова же сама дыня...

Снаружи земля раскалена добела, грядки с арбузами и дынями исходят жаром, знойный воздух врывается в автобус, и наши женщины просят закрыть окна.

Вскоре показываются первые деревенские дома, точнее, хибарки. Плоские кровли их обнесены домотканым полотном и напоминают ринг. Тигранакертцы этими загородками защищаются от скорпионов, которые размножаются еще успешней в подобную жару, не спадающую даже ночью. Уж не с такой ли крыши отчего дома в Старом Арабкире, заглядевшись на звезды, скатился вниз четырехлетний Ваагн Давтян?

— Только в такую жару и могут уродиться арбузы с ослиный выюк, да и дыни тоже...

— И с ослиный, скажу вам, и с верблюжий...

Едем по так называемой царской дороге Арташат — Тигранакерт, которую построил Тигран Великий. Ничего не говоря друг другу, мы, однако, молча ищем глазами одно и то же. Уже семь дней и ночей неумоимо колесим мы по Западной Армении. И каждый раз приходим в отчаяние, грустим при виде разрушенных церквей и разгромленных кладбищ. Ищем наше славное прошлое, оно должно быть здесь, недалеко. Ведь были времена, существовала Армения от моря и до моря, и царя этой Армении, Тиграна Великого, называли правителем мира. Правитель мира — “ашхаракал” — это слово впервые я услышал от тебя, мама, и помнится, с недоверием отнесся к услышанному. Ты обиделась, потом неизвестно откуда нашла репродукции крепостных ворот Тигранакерта и показала их мне:

— Прошло две тысячи лет, а башни стоят и посейчас, — сказала ты. — Если мне не суждено... ты, знаю, придет день, увидишь непременно.

Увижу ли? Мне уже не верится...

Приехали в Фаргин. Его население, согласно указателю, составляет семнадцать тысяч. Мы — несколько мужчин из нашей группы — выходим из автобуса и, увидев вдали старого продавца газет, направляемся к нему в надежде, что нам повезет и мы набредем на книгочея, знающего историю края. Так оно и вышло...

— Крепостные стены? Ну да конечно, стены Диарбекира замечательные, — шамкает он беззубым ртом. — Строить их начали ассирийцы, парфяне продолжили, наши завершили. А красочный дворец султана... — Старик замолкает, чувствуя, что рассказы его нам не интересны. Но вдруг, вроде смекнув, спрашивает:

— А вы никак армяне? Ну так бы и сказали сразу, вам надо во-о-н туда, в Силван.

Сворачиваем с шоссе. И чем больше удаляемся от крупных и малых поселений, тем маловерней делаемся. Что ищем мы в этом богом забытом краю, на гиблой этой земле? Тигранакерт, Диарбекир, Амид... На подступах к Силвану издали видна та самая башня, мама, репродукцию которой ты показывала мне ровно пятьдесят лет назад: “Если я не увижу, увидешь ее ты...” Высоко вознеслась она, выше остроконечных минаретов вновь построенных рядом мечетей.

Мы и не почувствовали, как доехали до стоянки, как вышли из автобуса, перешли городской бульвар. Воодушевленные безмерно, мы вызывающе, даже с угрозой говорим про себя: “Легко, наверное, перевернуть могильную плиту умершего девяносто лет назад старца, а попробуйте-ка расшатать эту крепость”. Как выяснилось, чтобы выйти к крепости, надо пройти через внутренний дворик и комнаты одного из жилых домов. Хозяин дома, радушно улыбаясь, открывает двери, сопровождает нас по ступенькам, ведущим вверх, так и не поняв, что же привело нас в эти места. Как что? Уверен — чтобы увидеть подобное достославное творение ашхаракалского ума и рук стоило проделать из Еревана весь этот путь, полный мук и отчаяния. И только Тигран Великий, “правитель мира”, как ты его называла, мама, только его мощь и сила были способны на такие творения, как эта крепостная стена и башня, что призваны были защищать Армению от моря и до моря, страну армян, которая никому из нас уже не кажется мечтой и грезой.

Устремленная ввысь округлой формы башня построена из светло-желтого мрамора. Камень настолько крепок, что не отколешь даже маленького кусочка на память. С внешней стороны на карнизах ворот, которые не раз были атакованы кочевниками, изображены рядами львы. Такие фигуры мы находим на монетах, щитах и шлемах, изготовленных в период правления царя Тиграна Второго. Однако фигуры, несмотря на внешнее сходство, не повторяются, и каждая интересна своим орнаментом, резьбой и узором. Протокольные надписи, понятно, сделаны на греческом: Месроп Маштоц тогда еще не создал своей азбуки. Нет и креста, поскольку не было еще Григорию Просветителю видения в образе Единорожденного.

Но ты, правитель мира, наверное, был больше армянином, чем все царствовавшие после тебя армянские цари, — хорохорюсь я. Его присутствие в такой от меня близости, возможность вести с ним разговор по душам — это импульс к тому, чтобы я, окончательно овладев ситуацией, заявил о своем решении подняться на башню. Обращаюсь к хозяину дома, который все это время крутится вокруг нас:

— Хочу из вашего дома по внутренним лестницам подняться на башню.

— Двери моего дома открыты для тебя, эфенди, но подниматься... очень опасно... Смотри сам, эфенди, — почесывая голову, приглашает меня в дом.

Изнутри башня в этой ее части, которую занимала конница Тиграна Великого, отражавшая вражеские набеги, тростниковой плетенкой разделена на два этажа: первый превращен в курятник, второй — в саманник. Чуть выше, на высоте вытянутой руки, на вбитых в стену ржавых клиньях висят рядами низки перца — заготовка на зиму. Когда они покраснеют, их используют для приготовления супов. Хозяин — не могу понять, досадует он или стесняется, — разогнав кур по углам, прислоняет пыльную лестницу к мраморной стене, и я лезу по ней на башню. Группа, следя за моим восхождением, рукоплещет. Моим попутчикам, наверное, кажется, что я хочу сфотографироваться на самом верху зубчатой оконечности купола, с тем чтобы похвастаться в Ереване перед знакомыми. Раздается щелканье фотоаппаратов. И когда я спускаюсь вниз, Мкртыч протягивает мне фотографию. Поблагодарив, я беру ее и, проходя через городской парк, по пути к автостоянке, незаметно рву на кусочки, бросаю в протекающий рядом ручей.

Не знаю, куда унесли ее воды Силвана...

Диарбекир

2 сент., 05

Вчера, мама, я так поздно вернулся в гостиницу и был настолько уставшим, что даже письмо свое не сумел отправить. Мы всей группой искали дом матери Жанетт. Как много значит для армянина дом матери, я хорошо себе представлял и до приезда в Тигранакерт. Твоя старшая сестра умерла после тебя, в Болгарии, и мои кузины обстоятельно описали мне в письме, как отдала богу душу прикованная к постели девяностошестилетняя женщина. Кстати, я заметил давно, мама, что пережившее ужасы геноцида ваше поколение, на долю которого выпало столько страданий, удивительно долго живет. И когда во время очередной нашей встречи я намекнул об этом французскому психоаналитику Элен Пиралян, она, грустно улыбнувшись, сказала:

— Ничего странного. Эти люди не могут умереть, потому что живут в ожидании. Они ждут. Ждут до последнего дня своей жизни, до последнего ее часа и верят, что в конце концов они вернуться на родину.

Перед смертью тетя, как и ты, попросила родниковой воды из Акна и, чувствуя, что умирает, собралась с силами и взмолилась:

— Домой меня увезите.

Стоявшие у изголовья ее дочери были в растерянности. После депортации мой дед, прежде чем обосноваться в Болгарии, скитался из одной страны в другую с женой и тремя дочерьми, в каждой из этих стран построил дом.

— В какой дом, мама?

— В наш, — сказала тетя Србуи, открыв глаза.

И несмотря на то, что во время выселения ей и полных семи лет не было, она со всеми подробностями описала дорогу к Акну.

— ...Через ущелье Евфрата, по узкой тропинке, берегом Дзорака, мимо церкви святой Богородицы отведите меня в квартал Ареги. Я уже чувствую дух нашей белой шелковицы... Единственный там трехэтажный дом — это наш. Пошире распахните двери, внесите в комнату, положите, нет, не на кровать, положите меня на пол, на ковер, что соткала моя мать... Спасибо, а теперь дайте мне отдохнуть... — Сказала, закрыла глаза и испустила дух...

Как справедливо замечает сестра Шарля Азнавура — Аида Азнавур-Гарваренц в своем романе-воспоминании “Мой младший брат”, в истории человечества геноцид 1915 года — самая боль-

шая трагедия, потому что она состояла из полутора миллионов отдельных трагедий.

В Диарбекир мы приехали поздно вечером, однако жизнь полумиллионного города, заселенного по преимуществу курдами, показалась нам беспокойной и даже несколько нервной. По улицам разгуливали вооруженные автоматами патрульные в касках. Безопасности ради они разделились на группы и демонстративно поигрывали своими дубинками и наручниками. Уличная детвора, видно, привыкла к ним и не обращает на них внимания. Босоногие сопливые ребятишки резвятся, путаются под ногами, хватаются за женские сумки, преграждают нам дорогу. Они не просят милостыню, как это делает нищая детвора в других городах, — требуют.

Те из моих попутчиков, которые побывали в мусульманских странах, предлагают вернуться в гостиницу и на рассвете продолжить поиски. Однако Жанетт, как всегда, проявляет нетерпение:

— Вы возвращайтесь, я же должна непременно найти дом моей матери.

Никто из нас, понятно, не захотел оставлять Жанетт одну. Ее мать так часто повторяла адрес своего дома, что дочка знала его наизусть:

— ...Она говорила, что это недалеко. Дойдешь до Карно — северных ворот крепости, найдешь улицу Ханчапак, и дом будет прямо напротив церкви халдеев.

Мы спускаемся по улице Ханчапак, останавливаемся у церкви халдеев. На противоположном тротуаре — глухая восточная стена с калиткой посередине. Жанетт в оцепенении.

— Он самый.

— Ты уверена?

— Невозможно, чтобы я ошиблась, — утверждает она, и это при том, что никогда не видела материнского дома.

На двери заржавевший молоток — быть может, он хранит еще следы рук ее матери.

— Ну, постучи, — говорю я.

— Лучше ты, — настоятельно просит она.

— Чего ты боишься, ведь это всего-навсего обычный покрытый штукатуркой каменной кладки дом.

И как звонарь бьет в церковный колокол, так и я стучу молотком, пока не появляется у дверей женщина в национальном

костюме, представляющем нечто среднее между турецким и курдским.

— Ханум, — обращаюсь я к ней, — тикин приехала в гости из Америки. Ее мать родилась в этом доме, разрешите нам войти, ей хочется осмотреть комнаты.

— Милости просим, заходите, в нашем сердце всегда есть место для вас.

Это двухэтажный особняк с внутренним двориком, где под раскидистым деревом расселись, поджав под себя ноги, молодые женщины с детьми. При виде иностранцев, тем более мужчин, они быстро закрывают лица до самых глаз. Хотя глазами они выражают намного больше, чем мы своей нескладной речью.

Жанетт, потянувшись, хватается рукой за деревянные полинялые перила. Поднимается по ступенькам. Достигнув первой площадки, останавливается, чтобы перевести дыхание. Боюсь, чтоб не разрыдалась вдруг под действием направленных на нее взглядов. Но обошлось. На лестничную площадку второго этажа, окаймленного балконами, по-видимому, открываются двери спальных комнат.

— Моя мать родилась именно здесь...

Она берется за дверную ручку, но в этот момент снизу раздается умоляющий голос одной из женщин:

— Прошу прощения, ханум, туда нельзя, постели не убраны, утром отводила ребенка к врачу и не успела прибраться.

Оборачиваемся, смотрим с балкона вниз, во двор. Делать нечего... Монте Мелконяна с его отцом, добравшихся из Америки до Марзвана, родины предков, и на порог не пустили.

— Упокой господи душу твою, мама, ты не преувеличивала, описала все как есть. — И вдруг она просит меня спросить, куда подевался бассейн. Ее дед охлаждал в нем арбузы, дыни, анисовую водку.

— Источник иссяк, и мы его убрали, — подает голос снизу хозяйка. — На этом месте дерево посадили. Здорово вымахало, правда?..

И пока мы спускаемся по лестнице, одна из невесток, прижав к груди ребенка, быстро встает, приносит для нас стульчики. Остальные продолжают наблюдать за нами своими черными искристыми глазами. Наверное, хотят понять, что же привело нас сюда и почему мы вторглись со своими воспоминаниями девятностолетней давности в спокойные, безмятежные их будни.

Однажды, мама, мы пригласили в Союз писателей посла Франции в Армении — к этому времени истекал срок его службы в нашей стране. Во время задушевной беседы мы поинтересовались, какого мнения он о нашем народе.

— Армяне прекрасные люди, — сказал он со всей искренностью, — но с кем бы и о чем бы я ни говорил, армянин всегда найдет возможность упомянуть геноцид 1915 года.

Откровенно говоря, мама, в тот момент я полагал, что он прав, и был согласен с ним: что мы действительно не чувствуем, как наскучили миру своими трагедиями.

Однако вечером того же дня, придя домой, я получил изданную во Франции, да, именно во Франции, книгу доминиканского священника Жака Реторе под названием “Христиане в пасти хищников”. Наверное, ты уже по заглавию догадалась, о чем она. Прочитал ее единым духом и, поскольку книга в основном посвящена Диарбекирской губернии, прихватил с собой в эту поездку. Уже за полночь, но переведу несколько отрывков; послушай, о чем он пишет: “Я уверен, что ни в одном из вилайетов Турции погромщики, жаждавшие крови христиан, не действовали с таким макиавеллизмом, с такой неслыханной жестокостью и беспрецедентным вандализмом, как в Диарбекире... Уже тогда, до начала войны, турки были более подготовлены к резне армян, чем к проведению военных операций.

Их хватке по уничтожению многолюдных караванов мог позавидовать сам дьявол”...

Речь не только об этой губернии.

“Через Диарбекир шли, — продолжает отец Реторе, — депортированные из Эрзрума, Муша, Битлиса, Вана, Харберда, Себастии, Анкары, Бурсы, Конии, Урфы; они направлялись в Рас-эл-Айн, Дейр-эз-Зор и Мосул, но за редкими исключениями доходили до мест назначения”.

Доминиканский священник пишет о жестокостях, творившихся под началом доктора Мехмед Рашид-бея, губернатора Диарбекира, “кровопийцы, какого не знала история”, по свидетельству современников. С целью полного уничтожения армян он создал специальные роты “мясников” — табуринов. Его так называемые добровольцы забивали армян на манер мясников: сначала заставляли раздеться догола, затем отрезали конечности — ноги, руки, а если кто-то сопротивлялся, то и носы и уши, под конец рубили голову и сбрасывали в ближайшее ущелье или колодец. Таким способом они расправились с архиепископом Игнатиосом Малояном, которого 7-

го октября 2001 года папа Иоанн Павел Второй в Ватикане провозгласил “Блаженным”. Мы же до сих пор не причислили к лику святых отца Комитаса. Нашего самого святого мученика. Вечного мученика.

Знаю, мама, тебе тяжело от подобных свидетельств, но факты эти приводит духовное лицо, в объективности и справедливости которого вряд ли кто усомнится. Главное, что и во Франции есть люди, полагающие, что даже спустя почти столетие мир должен знать о 1915 годе все во всех подробностях; должен знать также, что после первой мировой войны этот самый доктор Мехмед Рашид-бей в ужасе от содеянного и из боязни мести со стороны армян повесился...

Хозяйка предлагает нам горький кофе, мы отказываемся. Отказываемся и от холодного шербета.

— Мы приобрели этот дом у незнакомых людей, — неожиданно начинает она оправдываться, — не знали и кому он принадлежал.

Жанетт гладит ее по зардевшимся щекам, мы прощаемся и выходим на улицу.

— Ну как тебе дом моей матери, понравился?

— Понравился, но это уже не дом армянина.

— И никогда не был.

— Как это?..

— Разве я не говорила тебе, что моя мать была гречанка.

— А деда-то твоего за что арестовали?

— Мои родные, живя в армянском квартале, стали армяноязычными. Жандармы, которые арестовали деда, сказали, что обармянившийся грек опаснее армянина.

Нетерпимость турок к инородцам не ограничивалась армянами, они истребляли также и ассирийцев. Затем очередь дошла до греков. Теперь они резиновыми дубинками преследуют курдов. В каком же аду вы жили, мама...

Сатугех

3 сент., 05

Звонит телефон. Незаметно для себя я заснул с книгой Жака Реторе на груди. Пробую выглянуть в окно. Ночная мгла еще не рассеялась. Не слышно и утреннего намаза. Кто же это звонит в неурочный час? Оказалось, Жанетт.

— Отец не дал мне глаз сомкнуть всю ночь, звал в свою деревню. Сетовал все, мол, как это я после Диарбекира, не заезжая в Сатугех, отлеживаюсь в гостинице. Так ты едешь с нами?

— Да, конечно, я сейчас соберусь.

— Такси ждет внизу.

И действительно. Но как ей удалось найти такси в незнакомом городе?

— Сатугех, — по возможности четко произносит Жанетт название деревни. Знает, что оно производное от Сатеник.

— Саду, — отзывается водитель. Зовут его Фрад. Курд из племени заза, он ни на каком другом языке не говорит. Грант садится рядом с ним, Жанетт и я — на заднее сиденье. День занимается неожиданно и сразу, и мы замечаем, что арбузные и дынные поля уже не сопровождают нас. Остались позади. Мчимся по урфийскому каменистому шоссе, затем спускаемся в ущелье. Вдали на горизонте вырисовывается однопролетный Черный мост.

— Грант, гляди-ка, Каракеопру...

Не оборачиваясь, он кладет руку мне на плечо:

— Успокойся...

Успокоиться? Но как? Именно по этой дороге 18 июля 1915 года везли из Урфы, точнее, из Северека в Диарбекир депутатов османского парламента, великого новеллиста Горигора Зограба и Вардгеса Серенгюляна. Якобы на суд. Их фаэтон так и не доехал до города. Он исчез вот в этом овраге.

Жена и дети Зограба после ряда настойчивых обращений получили из Урфы письменное уведомление за подписью доктора Тагшина о том, что Зограб умер от разрыва сердца по дороге в Диарбекир. Правду они узнали из турецкой газеты “Ени эстиклер” (Новые открытия). Прочитали собственными глазами. Расправу описывал не кто-то из свидетелей, а сам палач Ахмед. Всю дорогу от Северека за фаэтоном, в котором ехали Зограб и Вардгес, следовала другая коляска. Когда фаэтон въехал в ущелье, фаэтонщик расседлал лошадей, якобы для того, чтобы они передохнули. Из задней коляски выпрыгнули тотчас двое черкесов — Халил-бей и Ахмед-бей и с ними чавуш Абдулрахман, который приказал Зограбу и Вардгесу спуститься с фаэтона. Не мешкая, они расстреляли Вардгеса, но Зограб сопротивлялся, и потому его растерзали. Били кинжалами. Не довольствуясь этим, Ахмед “наступил на него ногой, взял большой камень и бил, бил, бил его по голове...”

Позже, после окончания первой мировой войны англичане нашли преступников. Их приговорили к смертной казни через повешение. Но какая от этого польза? В Османской империи хали-

лов и ахмедов, увы, было великое множество, а Зограб был один-единственный.

Саду просыпается постепенно. Деревня живет типичной идиллической жизнью: сперва молодые женщины с медными кувшинами идут к роднику за водой, затем старухи доят коров и овец, а юные подпаски выгоняют скот на пастбище. Они и показывают нам, где стояла прежде деревня. Ныне это груда развалин, Ха-чахпюр же, родник, о котором всю дорогу рассказывала Жанетт, заболочен. Вокруг остались стоять редкие ореховые деревья, иссохшие, заскорузлые. Жанетт фотографирует все, что возможно: фрагменты фундамента церкви, надписи на могильных плитах, эмблемы вечности... Она кажется мне какой-то странной, равнодушной, что ли? Ведь она так рвалась в отцову деревню, что ночь не спала, а теперь такое вот безразличие.

Появляется сельский староста. Он очень похож на персонажей Мндзури*, с той только разницей, что с пояса у него свисает сотовый телефон. Интересно, пользуется ли он им? Впрочем, нет смысла иронизировать. В своих владениях он чувствует себя султаном, шахом и до того строг, что кажется, вот-вот арестует нас.

— Кто позволил вам, не спросив разрешения, развезжать на машине по территории моей деревни?

Пытаемся объяснить ему, кто мы такие. Вот тогда и стало ясно мне, почему это Жанетт такая безразличная.

— Я ищу родник своего отца, но не таким мне его описывали. Вода этого родника, просачиваясь наружу через ворсинки корней дерева, выпадала каплями росы и благоухала чабрецом.

Староста наверняка знает как свои пять пальцев все родники долины, да и не только родники, а все деревья, все кусты, и ему очень хочется, чтобы мы также уверились в этом. Он даже добрее, становится мягче и поучает нас:

— Говорил же, что надо было прежде всего найти меня, посоветоваться. Родник, что вы ищете, находится в соседнем Сатуге-хе, а это село Саду.

Жанетт чувствует себя виноватой, всю дорогу она об этом и говорит:

— Замучила я вас, и все понапрасну, доставила беспокойство, волнения...

* *Акоп Мндзури (1886-1978 гг.) – известный западноармянский писатель, описывал быт и нравы родной деревни.*

— С каких это пор посещение армянской деревни может причинить усталость и беспокойство? — обижается Грант. — Ведь девяносто лет нога армянина не ступала в Саду.

— Ты прав, — соглашаюсь я с ним, — хотелось бы иметь возможность посетить все деревни Западной Армении. И тогда земля почувствовала, услышала бы биение наших сердец, поверила бы, что не покинута и не забыта, что мы есть, помним ее и тоскуем по ней...

Сатугех, как Саду и все окрестные деревни, давно уже заселен курдами: дети и женщины пока еще спят на занавешенных плотным сукном крышах, а мужчины в открытых чайных пьют коричневую жидкость в ожидании часа намаза. Мы здороваемся, спрашиваем дорогу к роднику. Никто и бровью не повел, смотрят так, будто не замечают нас.

— К чему такая спешка? — бормочет под нос наконец какой-то тип в чалме, наверное мулла. — Скоро освободим эти земли, отойдут они Курдистану, позволим вам вернуться, и будете опять нашими райя .

Эти слова почему-то задели за живое одного из чаевничавших мужчин. Опираясь на палку, он с трудом поднялся с места (наверняка ему было больше ста лет) и сказал:

— Пойдемте, я поведу вас.

Старику Мехмеду, по его словам, действительно было сто лет. Он еле передвигал ноги, дышал тяжело, но все же проводил нас до Хачахпюра. Однако возвращаться назад не спешил: видно, решил выяснить, что нас сюда привело.

Видела ли ты, мама, когда-нибудь такой родник, чтоб в поилку его с ворсинок корней дерева капля за каплей стекала прозрачная, как роса, вода — вся в звездном сиянии? Я все пил, пил и не верил, что вода может иметь цвет и аромат. Жанетт старается по возможности наполнить все имеющиеся у нас бутылки и сосуды, но все ей кажется мало, и как бы в свое оправдание она рассказывает, что, когда отец ее долго и тяжело болел и врачи не могли поставить его на ноги, он часто повторял, что его может вылечить только вода Хачахпюра.

Дед Мехмед, заметив волнение Жанетт, спрашивает:

— О чем это она?

Я перевожу.

* Райя — податное сословие в бывшей султанской Турции. Так с начала 19 в. презрительно называли немусульманское население.

И столетний этот старец в порыве откровения рассказывает:

— Грехи мои велики, земля меня не примет, а ежели и примет, не простит... — Чтобы не потерять равновесие, он шарит по земле палкой, находит камень и садится. — Отец мой был армянин. Когда начались гонения, он потерял своих десятерых братьев. Со страху отрекся от веры — Ибрагимом стал. Он признался мне, я знал об этом, но когда волнения в стране улеглись, я не вернулся в свою веру.

Старик обращался к нам как к своим исповедникам, вымаливал у каждого из нас отпущение грехов. Я попытался утешить его:

— У тебя не было выхода. Что ты мог сделать один среди такого количества курдов?

Озираясь по сторонам, он понизил голос и сказал:

— Я не один, таких, как я, в деревне много.

Обняв его, я попросил Жанетт сфотографировать нас. И, пользуясь моментом, обратился к нему с вопросом:

— Ты женат? Говорил ты своим детям, что они армяне по происхождению?

— Мои дети разбежались кто куда, живут то ли в Германии, то ли в Бельгии... Кто его знает, какой они теперь национальности...

Шарль Азнавур утверждает, что ныне в Турции проживает один миллион принявших мусульманство армян, национальную принадлежность которых обязаны признавать не только армяне, но и турки. “Какое имеет значение религия? — возмущается певец. — Армянин, он и есть армянин, будь он католик или протестант. И не знаю, окажись я на месте дедов, омусульманившихся армян, испытывших ужасы резни 1915 года, не сделался бы я вероотступником ради спасения своих детей?”

Редактор стамбульского еженедельника “Акос” Грант Динк, — которого верховный суд Турции судил за публичную констатацию факта геноцида, а ненавидевший чужеродцев экстремист расстрелял на оживленной улице, — случайно прочитав интервью Азнавура, ответил ему на страницах еженедельника. Будучи хорошо осведомлен в этих вопросах, он утверждал, что число обращенных в мусульманство армян в Турции в настоящее время доходит до трех миллионов. Вот такие дела, мама.

Амид

4 сент., 05

На следующий день, в воскресенье, мы, как это принято повсюду в Западной Армении и до сих пор еще в спюрке, обряди-

лись в свою воскресную одежду, чтобы идти в церковь. По кривым улочкам Диарбекира, даже в такую рань источавшим ароматы восточных пряностей, торжественным шагом направляемся мы в армянский квартал, точнее, в город Амид. Уже за утренним завтраком мы решили заказать заупокойную в церкви святого Киракоса, помянуть души полутора миллионов наших мучеников, и особенно невинно загубленной малютки Кристине. Всю поездку по Западной Армении, мама, нашим единственным утешением были молитвы, ладан и свеча. Не зря мы называли наше путешествие паломничеством. Как свидетельствует Гарегин Срвандзтян*, церковь святого Киракоса семиалтарная, точнее, была таковой. Купол ее давно скособочился, зато сохранились несущие стены и пилястры. Они величественны, эти стены, и вызывают чувство почтения. Не потому ли, сгрудившись у преддверия, мы читаем, как молитву, протокольную надпись: “Эта славная семиалтарная церковь построена главою епархии города Петросом...”.

Продираемся к затерявшейся в зарослях плюща и колючек паперти, и Жанетт здесь ставит первую свечу в память своей тети Кристине, которую девяносто лет назад оставили под этими сводами.

В 1915 году, когда началась депортация, рота “мясников” заколола родителей отца Жанетт на пороге их собственного дома: бабушку Парандзем и дедушку Мурада. Отец Жанетт — Абраам, его братья Хачатур и Погос с трехмесячной сестрой Кристине чудом уцелели. Осиротевшие братья, понимая, что не сумеют выводить малютку и полагая, что наилучшее убежище для нее — это армянская церковь, решаются на отчаянный шаг. Они оставляют ее на паперти церкви святого Киракоса, а сами прячутся за колокольню и ждут. Вскоре они видят, как, проходя мимо, какой-то старик подходит к ребенку, с умилением треплет его за пухлые щечки, затем, заключив малютку в объятия, убегает.

А тем временем в такую же адскую жару, как и сейчас, тянется через пустыню караван тигранакертцев, и чем дальше уходит он, тем тяжелее на душе у Абраама. Наконец он решает вернуться в город. Убегает с половины пути. Днем он прячется, с наступлением темноты выбирается на дорогу. Так он добирается до Тигранакерта. В городе он стучится в каждую дверь, откуда слышится плач ребенка, заходит в сиротские дома, расспрашивает знакомых и незнакомых, но не находит сестру...

* Крупный западноармянский духовный деятель, этнограф (1840-1892 гг.).

Не знаю, сказать мне Жанетт правду или промолчать. Словно провидение позаботилось послать мне из Франции книгу Жака Реторе, и именно накануне этого путешествия. Минувшей ночью я снова перечитал 189-ую страницу, где доминиканский священник описывает, как его сосед-турок, воровато озираясь, шел к своему дому с ребенком на руках, — тот, казалось, был без сознания... Первые часы старик смотрел за малюткой как за родной, даже пытался напоить молочком через соломку. Но ребенок, очнувшись после длительного обморока, поднял такой крик, что старик решился на страшное: вырыл у себя во дворе яму, закопал малютку заживо и поверх холмика положил большой камень. За происходящим наблюдала жившая по соседству старуха-айсорка.

— Душегуб ты эдакий, — закричала она, вбегая в сад, — почему ты закопал живого ангелочка? Дай-ка мне спасти ее, пока не задохнулась она.

— Воля твоя, но сначала заплати, — сказал старик. Доминиканский священник называет даже сумму, которую он запросил, по нынешним ценам — полтора франка.

— Заплатить тебе? За что?..

— За то, что потрудился, яму вырыл.

Айсорка швырнула ему деньги, затем, откопав девочку, унесла к себе домой. Дыхание у малютки восстановилось, но через несколько дней выяснилось, что у ребенка сломан позвоночник. Так и не приходя в себя малютка умерла.

Дорогая мама, может, она и не была тетей Жанетт, но какое это имеет значение? Она наше дитя, всех нас... И тяжелый камень, легший на ее тельце, поверь, лежит и на моей душе. Его тяжесть еще больше чувствую именно здесь, в Тигранакерте. Да и разве только камень! А терраса, что была напротив нашей гостиницы? В ее сторону я даже спустя девяносто лет смотреть не могу: сто'ит, кажется, взглянуть туда, и я увижу уложенные в ряд истерзанные тела армянских женщин. Пьяная солдатня выставила их наготу на обозрение толпившимся в овраге ротозеям.

Пишу эти строки, мама, но, возможно, не отправлю тебе, вычеркну их точно так, как много лет назад я, начинающий тогда писатель, вычеркнул по твоей просьбе первоначальный вариант этого же текста. Ты, казалось, была безразлична к моим публикациям, но это только казалось... На самом деле каждую ночь, когда я ложился спать, ты надевала очки, садилась перед моей пишущей машинкой и внимательно вчитывалась в каждую строч-

ку. Но однажды, возмущенная, разбудила меня посреди ночи и потребовала:

— Не продолжай, порви... Если ты опубликуешь это, я, поверь мне, сын, как армянка и как мать не захочу жить дальше...

— Но ведь не я придумал это, — спросонья пытался оправдаться я.

Монах Мардинского доминиканского ордена Ясент Симон полагал, что обязан опубликовать эти свидетельства из чувства долга, долга совести. К счастью, мемуары ассирийского священнослужителя уже были изданы на армянском, я открыл 154-ую страницу и зачитал ее, строчка в строчку, вслух для тебя. Однако ты была не в состоянии слушать, не могла. Взявшись обеими руками за голову, выговаривала мне:

— Стыдно, сын мой, стыдно...

И тут моему терпению пришел конец.

— Ведь они не стыдились совершать эти зверства, так почему же я должен стыдиться того, что не желаю предать их забвению!

Утром следующего дня я не только сделал то, о чем ты меня просила, — порвал написанное, но и ничего никому не рассказал. И вот спустя много лет приехал в Тигранакерт. Рядом с гостиницей, где я живу, — тот же овраг, та же терраса. Я, как и прежде, ничего не решаюсь рассказать своим попутчикам. Но и ничего не забываю.

Чтобы избавиться от охвативших меня мрачных мыслей, захожу в церковь. На миг не верю собственным глазам. Внутренняя часовня поражает убранством и ухоженностью. На стенах иконы, на алтаре евангелия. Помнится, Срвандзтян видел здесь множество рукописей и печатных книг, даже список составил. Подхожу к пюпитру. Всего остались две потрепанные Библии: одна, 1898 года, издана на грабаре в Вене, другая в 1928 году в Константинополе, армянский текст записан турецкими буквами...

Чья-то рука тянется сзади и тихо кладет на столик спички. Кто-то подумал, наверное, что хочу зажечь свечу. Оборачиваюсь. Передо мной смуглолицая девушка с платком на голове, в длинной, спускающейся до пят юбке. Знаю, что грех беру на душу, но не могу глаз оторвать от нее.

— Как тебя звать?

— Фиясет.

Бог ты мой, неужели курдянки бывают такими красивыми?

— Что ты делаешь в армянской церкви?

— По утрам пол подметаю, пыль вытираю с икон.

— Верующие армяне приходят?

— Мало, очень мало. Главным образом туристы.

Хочу узнать, почему она добровольно взяла на себя уборку церкви, но вдруг меня осеняет догадка:

— Ты армянка, Фиясет?

— Нет, я курдянка, хоть и с Бингёла, — опускает она вниз длинные стрелки ресниц. Увидев, что наша группа в сборе, она приглашает всех к себе домой. Местный обычай ли, а может, из-за жары, но нам и здесь предлагают стульчики, приглашают посидеть во дворе, который примыкает к церкви, являясь как бы ее преддверием. Тотчас же во двор вылетают проворные и быстрые, как она, мальчики и девочки. Один поливает плиточный настил, другой предлагает холодный тан, третий кофе.

— Все эти дети твои, что ли? — взглядом ласкает ее Жанетт. Наверное, не может никак забыть о своей тете.

— Мои.

— А муж где?

— В тюрьме.

— За что его?

Нам кажется, что не скажет, постесняется, покраснеет, но нет, высоко подняв голову, она с гордостью, даже дерзко, с вызовом смотрит на нас:

— Фидаин он.

Дорогая мама, в Западной Армении для меня самое невыносимое — гостиницы, несмотря на то что они оборудованы по-современному и по преимуществу носят названия наших исторических городов: Ван, Муш... Просто я никак не могу привыкнуть к своему пребыванию на родине в качестве гостя. Мечтаю о домашнем тепле, хотя бы одну ночь поспать под чьим-то кровом... И если Фиясет предложит нам заночевать у нее, я не откажусь и группу уговорю. Но она не предложила. Мы вернулись в гостиницу и, последовав советам персонала, всю ночь не выключали кондиционеры, чтобы спастись от духоты. Наконец рассвело, и мы двинулись в путь.

Остались ли после нас армяне в Тигранакерте, Диарбекире, Амиде?

Муш

5 сент., 05

То, что я вижу в этот миг, мама, не сон. Если точнее — сон, но сбывшийся. Из окна моего гостиничного номера виднеются

Немрут, Гргур и Сим^{*}. В Муш мы приехали вчера вечером. Уже смеркалось, но я не утерпел, оставил свой багаж и поспешил мимо крепости к ущелью. Тут я увидел, как, едва касаясь голыми ступнями подснежников, по заснеженным склонам Циринкатара спускалась к Меграгету наша языческая богиня любви Астхик. Она скинула с себя небесно-голубое покрывало и метнулась в среброзвонные^{**} волны. Вдруг откуда ни возьмись появился Григор Лусаворич^{**} и осмелял наготу богини. Не удовлетворяясь этим, он разорил возвышавшееся напротив, на горе Карке, капище Анаит, и на его развалинах построил церковь Сурб Карапет.

*Под крестом —
Под расписанным кровью распятем, —
С крыл которого скорбь в мир струится как в чашу,
Горьким сердцем искусства оплачу опять я
О, язычников Боги, гибель раннюю вашу!
Даниел Варужан (перевод А.Тер-Акоповой)*

Я прервусь ненадолго, меня зовут, мы всей группой идем в Сурб Карапет. Продолжу, когда вернусь...

Вернулся. Лучше бы никуда не ходил. Мы надолго задержались в фойе гостиницы. Сперва я не понимал, в чем дело, пока не явились двое службистов из госбезопасности. Выяснилось, что они будут сопровождать нас. Это были приветливые, приятные с виду молодые люди, по дороге мы разговорились, вспомнили Арабо и матушку Сосе^{*}. Они даже показали нам место, где погребен Геворг Чауш^{**}. По стольному городу Мамиконянов мы шагали под конвоем, как арестанты. Что бы подумали Вардан, Ваан и Мушег, если бы увидели нас с высоты своей крепости Вохакан, развалины которой различимы и сегодня? Однако вскоре мы вышли из города и смешались с хнусцами, харбердцами, алашкертцами^{****} и с другими паломниками. Они так

* Горы в Западной Армении.

** Первый армянский католикос. При нем в 301 г. в Армении христианство было провозглашено государственной религией.

* Герои национально-освободительной борьбы в Западной Армении.

** Герой национально-освободительного движения.

*** Прославленная династия нахараров (князей), которая известна своими спарапетами (полководцами).

**** Жители различных областей Западной Армении.

же направлялись в Сурб Карапет, и от них мы узнали, что приближается праздник Вардавар. Хотя Григор Лусаворич и переименовал его и назвал днем Преображения Христова, традиция неизменна. Она остается неизменной вот уже две тысячи лет: подводы паломников в уборе зеленых веток и пышных колосьев пшеницы; волы, впряженные в телеги, тоже празднично убраны: лбы их увенчаны цветами, перевязаны разноцветной тесьмой. Из-за крутизны поворотов дорога, что ведет к церкви, названа “Восхождение к богу”, и чем круче она, тем громче звучит “Символ веры”:

*Верую во единого Бога,
Отца Вседержителя,
Творца неба и земли,
Видимого и невидимого...*

*И во единого Господа
Иисуса Христа...*

И сразу в ответ раздается, как колокольный звон, хоровая. А впрочем, хоровая она или плясовая?

С гор идет Маро, вкусный жах несет...
С гор идет Джано, вкусный жах несет...
Прилегла Маро, неприкрыта грудь...
Прилегла Маро, неприкрыта грудь, яр — голубушка.
(перевод подстрочный)*

На пути к Сурб Карапету сливались в единый поток восточные и западные армяне-паломники, языческое и христианское в их вечности. И кто может уничтожить, стереть с лица земли такой народ, мама? Пытались, пробовали много раз, но не смогли ведь...

Другое название Сурб Карапета — церковь Девяти источников. Одолев подъем, паломники по очереди, наклонясь, пробуют воду из всех девяти источников — из Лусахбюра (Светлый), Пахахбюра (Холодный), Чермак ахбюра (Белый), Бареам ахбюра (Вкусный), умываются прозрачной родниковой водой. Перекрестившись, они целуют надгробные плиты на могилах Зеноба Глака**, князей Мамиконянов — великого князя Мушега и сына Гайла Ваана — Смбата.

* Резак.

** Армянский историк IV века.

На улице Хачбак, у колокольни о семи столбах вышли навстречу нам глава епархии Тарона Хримян Айрик и настоятель монастыря архимандрит Гарегин Срвандзтянц. Он раздал нам посвященный празднику специальный выпуск газеты “Тарони арцвик” (Орленок Тарона)...

Нас, как всегда, окружают дети. Будто днями, месяцами только и делали, что ожидали нашего прибытия. Девочки постарше спеленали своих младших братьев и сестер и, привязав их к спинам, бегают, суетятся, горланят, оглашая криками развалины Сурб Карапета. Вокруг этих развалин и вырос курдский поселок Ченгилер. Спасаясь от преследования детей, я зашел за разрушенную стену — какой-то малец, подтягивая штаны, прошмыгнул мимо моих ног. Собираюсь зажечь свечу в закоптелой нише — как знать, может, когда-то она была купелью церкви Святого Креста или Григория Просветителя. И вдруг рядом оказывается Жанетт:

- Старайся не отставать от группы и забудь о ладане и свече...
- С чего бы это?
- Я же предупреждала тебя, разве не слышал?

Она, действительно, рассказывала, что в прошлом году с большой группой женщин отправилась в паломничество по Западной Армении. Поездку организовал Союз армянской помощи. Ну и естественно, группа побывала и в Сурб Карапете. Не имея опыта подобных поездок, наши армянки повели себя несколько раскованно: исполняли духовные песни, согласно обычаю курили ладаном, зажигали свечи. Вскоре с разных сторон полетели в них камни, не пощадили и автобус с турецким номером.

— Ну, а вы узнали, в чем было дело?

— Ченгилерцам показалось, что мы приехали с целью вернуть наши дома, поселиться в них. Было много шума, крика, мол, не отдадим вам ни единого камушка...

Оглядел я эти дома и подумал, что напрасны их страхи: армянин не станет жить ни в одном из них. Вокруг Сурб Карапета курды действительно понастроили приятные с виду двухэтажные особняки. Местами в стены этих построек вкривь и вкось, как попало, положены хачкары с монастырского кладбища; если хачкар не умещался целиком, его дробили. Как знать, чьи могильные плиты размещены в этих стенах? Быть может, мученика Теодика или Семи Хотачаракацев*?

* Хотачаракац - вегетарианец.

Уверившись, что мы на самом деле не просим наших домов обратно, ченгилерцы, переговариваясь и перекликаясь друг с другом, постепенно приближаются, рассаживаются на камнях, а кто посмелее — подходит к нам. Наконец появляется и сельский староста с неизменным символом власти — с сотовым телефоном за поясом. Вмиг по его распоряжению нас угощают прохладным таном. Значит, я считаюсь гостем, значит, могу побродить спокойно. Я иду медленным шагом в надежде услышать откуда-нибудь, все равно откуда, хоть из хлева, армянскую речь. Увы, не слышу. Только старуха на пороге какого-то дома зажала меж колен голову внучки и копошится в волосах в поисках вшей да молодые невестки на крыше другого дома треплют шерсть, дальше какая-то женщина, вся в клубах кизячного дыма, печет багардж*. Заметив, что стою, наблюдаю за ней, она поддела крюком горячий хлеб из тонира и протягивает мне. Просяной хлеб. Миссионеры и путешественники, приезжавшие в Муш еще сто лет назад, удивлялись, что армяне едят пенистый лаваш из пшеничной муки, а курды — просяной багардж. Неужели по прошествии ста лет они едят все тот же хлеб?..

Шел второй день, и паломники, устав от громохання доола, верещания зурны, круговых плясок, утомясь гонять голубей и тянуть жребий, двинулись в разных направлениях. Вскоре по горам и долам разнеслась недобрая весть: “Курды караван Карса ограбили... У кхецинцев девушку утащили...”

Торопимся в гостиницу. Сами работники госбезопасности, которые обеспечивают наше пребывание в стране, не советуют выходить на улицу. Уже и сумрак незаметно скользит с Астхнберда и стелется над Меграгетом. В знак своего уважительного отношения к нам, к нашей истории один из службистов — Фемин Эрденджи приносит из своей семейной библиотеки изданный на французском языке альбом, посвященный церкви Сурб Карапет. Делает фотокопии вводной научной статьи и дарит каждому из нас по одному экземпляру. Сочтя это признаком благосклонности и дружелюбия, я со стаканом чая устраиваюсь рядом.

— Фемин, хочу я в Ацекац** поехать.

— В нынешний Гювен? Не делай этого, настроение себе испортишь, да и только...

* Пресный хлеб.

** Село, где родился создатель армянского алфавита Месроп Маштоц (V век).

— А в Хоронк^{***}?

— Там еще хуже.

— Добраться до Муша и не навестить Месропа Маштоца и Мовсеса Хоренаци? Зачем же мы тогда сюда приехали?

Как только работники госбезопасности, пожелав нам доброй ночи, удаляются, мы тотчас же выбегаем на улицу. Но зачем? Наши так называемые сопровождающие говорили, что более чем в ста деревнях Муша не сохранилось ни одного армянского памятника. Поменялись и названия сел и деревень. Испытываю неодолимое желание выпить, но тут же вспоминаю, что последнюю бутылку армянского коньяка мы распили с Араратом на берегу Аракса. В магазинах и столовых, куда мы заходили второпях перекусить, выпивки мы не видели. Мужчины здесь изо дня в день, сидя за столиками чайных на тротуарах, подолгу пьют чай. Вприкуску.

Завидев по дороге к Датвану чайную на лесной поляне, мы остановились, подошли и спросили разрешения у хозяина посидеть за столиками с собственным завтраком, заодно и чаю попить. Не отказал. Мимо нас проехал шикарный лимузин, но вдруг водитель затормозил, подошел к нам, примостился на пенечке рядом со мной и Максимом. Это был франтовато одетый, увешанный золотыми цепочками молодой мужчина. Он казался не от мира сего, сидел, весь уйдя в себя, и стакан за стаканом пил чай. Максим же, тот самый ополченец Максим, забыв о еде, пристально смотрел на него, но в конце концов не выдержал, толкнул меня в бок:

— Попробуем разговорить его.

— Давай, — согласился я. Они будут беседовать, я — переводить.

— Сколько стаканов чая ты выпил сегодня? — спрашивает Максим.

— Стаканов пятнадцать, — отвечает молодой человек.

— А до вечера сколько еще выпьешь?

— Столько же. Сами, наверное, заметили, что спешил очень, но вот увидел чайхану и...

— А как относишься к спиртному?

Турок пристально смотрит на Максима, кривит рот:

— Уже и не помню, когда и по какому поводу употреблял в последний раз. Я же верующий мусульманин...

^{***} Село, где родился армянский историкограф Мовсес Хоренаци.

Невзирая на поздний час, мы всей группой шагаем по главной улице Муша в поисках питейного заведения. Она сравнительно лучше освещена и, естественно, носит имя отца Турции Кемаля Ататюрка. Остановливаемся перед кафе с красочной рекламой. Входим, и на витрине, мама, я вижу те сладости, которые ты пекла накануне Нового года, называя их по-турецки: пахлава, тулумба, гадаиф... Зачарованный, будто встретился с тобой, смотрю я с тоской на витрину, но мои попутчики торопят меня:

— Ну идем же, кому сейчас захочется печеного, да еще на меде...

— Пожалуйста, останьтесь, не уходите, принесу вам все свежее и вольму недорого, — взмолился молодой хозяин кафе.

Нас, как почетных посетителей, препроводили в зал на втором этаже. Вскоре хозяин кафе принес наши заказы и сам же стал обслуживать.

Кто-то из женщин, кажется тикин Анаит, попросила воды.

— Пожалуйста, обращайтесь ко мне на армянском, — попросил он настоятельно.

С этого момента все, что он приносил на стол — сладости, вилки, салфетки, — переводилось на армянский, а он повторял. Удивлялся все, почему армянские слова такие длинные.

Вдруг он исчез. Мужчины нашей группы с самого начала с недоверием отнеслись к Серхану (так он нам представился) и теперь злорадствовали:

— Умаслил нас, сбыв свой товар и удрал.

Но тут появился Серхан и, запыхавшись, направился ко мне:

— Извините меня, я ходил за своим дядей Рндо. Он давно ищет армянина, знающего турецкий. Разговор у него есть с вами.

Он познакомил нас, затем подвел к стоявшему в углу столику. Подозрительность, с какой Рндо вначале разглядывал меня, постепенно уступила место доверчивости. Тонем человека, знающего о чем-то важном, он таинственно прошептал:

— Дед мой, значит, рассказал перед смертью, что во время резни не то турки, не то курды подожгли их дом. От огня развалилась кровля и рухнула на тонир, покрыла полностью место, где был зарыт кувшин с золотом. Не слыхал ли ты, где это случилось?

— А зачем тебе? — спрашиваю я.

— Хочу найти и откопать, не чужое добро ведь, дедово. — И он с надеждой уставился на меня.

— Во время резни таких случаев были тысячи, сотни тысяч, подобное происходило во многих городах и деревнях.

Он искренне удивляется:

— И вправду?

— Такое ли еще бывало...

Сначала он погрузился, потом возмутился:

— Как же так, а мы ничего не знали, нам ничего не говорили...

Группа дожидается меня у выхода. Подхожу, передаю им свою беседу с Рндо. И кто-то тотчас мне:

— Говорил же, что надо часто сюда приезжать, но обязательно выучив и турецкий и курдский.

Серхан, который крутится вокруг нас и никак не может с нами расстаться, услышав последнюю фразу, спрашивает:

— На самом деле, что это вы так зачистили к нам в последнее время?

— Чтобы сделать вас армянами.

Молодой, дерзкий, с броской внешностью Серхан, озорно улыбнувшись, наклонился и шепнул мне на ухо:

— Мы и так армяне...

Всю ночь перед моими окнами Немрут, Гргур, Сим, Циринкатар. Я смотрю на них глазами ожидающих меня с нетерпением в Ереване моих друзей, предки которых были из Муша. Глазами их отцов и дедов. О чем же я буду рассказывать им по возвращении?..

Немрут, Гргур, Сим, Циринкатар молчат. Мой друг-историк до моей поездки в Западную Армению утверждал, что геноцид армян начался еще в 1878 году, завершился в 1922, а 1915 год был лишь кульминацией. Кому и как мне объяснить, что геноцид продолжается и сейчас, спустя почти век. И неизвестно, успеем ли мы спасти Серхана, Рндо, упомянутый Азнавуром один и уточненные Динком три миллиона армян.

Немрут, Гргур, Сим, Циринкатар молчат.

Немрут, Гргур, Сим, Циринкатар пока еще молчат.

Арацани

6 сент., 05

В 1915 году, девяносто лет назад, по этой же дороге, в такой же летний зной шагала ты, мама. Тебе было едва ли пять лет, ты умирала от голода и жажды, шла насилу, цепляясь за бабушкин подол, обходя валявшиеся на дороге скрюченные трупы. Я готов провалиться со стыда, что девяносто лет спустя волею обстоятельств оказался на той же дороге в комфортабельном американском автобусе с кондиционером и холодильником, полным

всяких деликатесов. И потому, как только мы подъезжаем к Сулукскому мосту, я прошу остановить машину и пешком спускаюсь на берег Арацани. Где на влажном этом песке, среди колючих зарослей мой дед Григор, имя которого я ношу, разбил палатку и разжег костер? Арацани, что течет себе под двенадцатью арками моста и несет свои воды через всю Западную Армению к Евфрату, настолько спокойна и безмятежна сегодня, что даже и волной не всплеснет. Будто не она на протяжении лет несла в своих водах тысячи трупов и потоки крови. В ужасе я останавливаюсь — боюсь наступить на черепа и кости. Ты помнила хорошо — такое не забывается, — как вы по ночам закапывали трупы умерших от тифа и голода в ямы, вырытые вашими руками, пальцами. К утру разлившаяся река, размыв береговой песок, возвращала их вам. Бывало, вода выбрасывала на берег новые трупы... Но может, все это за гранью реального? Смотри, со стороны Арарата и стального града Вагаршапата под звон тарелок, с духовными песнями тянется сюда процессия, и кажется, ей нет конца. Достигнув Арацани, разувается и первым входит в реку Григор Лусаворич. Крестом и кадилом — миры тогда не было — он крестит и обращает в христианство царя Трдата Третьего. Царицу. Войско. Весь армянский народ, пешком следующий с Араратской долины за своим царем и первым католикосом. Что сказать, мама, нас не сумел спасти и призрак Лусаворича.

Ты, я уверен, хорошо помнишь времена, когда в Нор Арабкир стали наведываться протестантские миссионеры. Они ходили по домам и раздавали Новый завет. Твоя близкая подруга тикин Тигрануи (в годы депортации она лишилась всех своих родных и одного глаза) хлопала дверью перед ними, крича:

— Где был ваш Бог двадцать четвертого апреля пятнадцатого года?

И вправду, где?

Хоторджурцы раньше вас прибыли в долину Арацани: мужчин закололи на месте, женщин же отдали на милость Зейналбека. Каждую ночь он утаскивал к себе в шатер несовершеннолетних, часто девяти-десятилетних девочек, предавался с ними утехам, а утром забивал их собственными руками. Со специальной целью. У Зейналбека (спустя время его прозвали мясником) имелись четки собственного изобретения, на которые он нанизывал не бусы, а груди оскверненных им девственниц. К моменту

* *Жители горного района Западной Армении.*

вашего прибытия в Арацани на его четках было семьдесят таких “бус”. На следующий день, собрав хоторджурских женщин, он принялся орать:

— Довольно с вами цацкаться. Или вы сегодня же примете магометанство, станете наложницами мужчин из близлежащих деревень, или же отправитесь в Дейр-эз-Зор. Ну а что вас там ждет, сами знаете.

Мамик Маруз, которая была старше всех по возрасту, сразу смекнула, что на уме у главаря охраны. Приближалось время намаза, и она решила воспользоваться этим. Опустившись на колени, она сказала:

— Бек, мы очень благодарны тебе за милосердное решение, но дай нам хотя бы час, чтобы мы подготовились.

И как только послышался азан, она обратилась к каравану:

— Все, не теряя времени, к реке!

Первая с тремя своими дочерьми к Арацани подошла Вергине. Но старшая из дочерей почему-то замешкалась.

— Что случилось, дочка, страшно тебе? — встревоженно спросила мать.

— Нет, нет, хочу, чтобы сначала ты, тогда не увидишь, как я тону.

Только девятилетняя Юлиане плачет, вырывается из рук матери, хочет убежать:

— Ты нас не бросишь в реку, правда? Ты ведь не убьешь нас...

Мой дед Григор, единственный мужчина в семье, имел троих дочерей и красавицу жену. Он спрятал вас в шатре, постриг вам головы, измазал золой ваши лица. Решил, что изуродовал вас достаточно, однако избежать преследований все равно не удалось. О дальнейших событиях я узнал во время нашей поездки в Болгарию от бабушки. Ты старалась всячески замять разговор, поменять тему, но бабушка была настойчива:

— Сын у тебя растет, да еще и имя деда носит, пусть знает всю правду...

Мама, дорогая, тебе было всего пять лет, ты играла на берегу реки и не понимала, что творится вокруг, до того момента, когда Зейнал-бек с каким-то бедуином подошел к тебе и грубо схватил за руку.

— Это мой ребенок, чего ты хочешь? — бросился к нему мой дед.

— Уже не твой, — поднял дубинку Зейнал-бек, — я продал ее арабу-кочевнику.

- Почему именно этого ребенка, бек?
- Маленькая она, забудет вскоре и язык и веру.

К счастью, у деда было припрятано золото, и он выкупил тебя у бедуина. О том, чего от вас хотели турки, бабушка сообразила только в последний момент.

Женщины каравана, чтобы спасти своих детей от голода, днями бродили по горам в поисках съедобной зелени, корней. Бабушка же, усадив вас на песок, на берегу реки разучивала с вами армянский алфавит, по многу раз заставляла писать одно и то же: “Я армянка, я армянка”...

После депортации вы всей семьей так долго мыкались из страны в страну, что у тебя не было возможности ходить в школу, но в Нор Арабкире письма наших соседок-репатрианток писала ты. И когда они, любясь твоим округлым почерком, спрашивали, где ты научилась так красиво писать, ты, помню, с удивительной гордостью, да, именно с гордостью отвечала:

- На дорогах резни, на песках Арацани.

Возможно, ты была права, мама: буквы, выученные в подобных условиях, забыть невозможно. Не забываются не только буквы. А язык? Национальность? И еще живет в каждом из вас жажда отмщения. Не знаю, какие надежды связывала бабушка с моим взрослением, но расплата состоялась задолго до моего появления на свет.

5 февраля 1916 года по этой же дороге стремительным маршем промчался полк Дро. У Сулукского моста Дро обратился к своим воинам:

– Господа добровольцы, остановитесь, на миг преклоните головы. Девять лет назад, двадцать седьмого мая, здесь погиб наш доблестный Геворг Чауш.

Воины Дро выстроились на мосту и с двенадцатипролетной его высоты двенадцатью орудийными залпами сотрясли Маратук и Немрут. Еще громче, однако, грянула песня в честь героя.

И воодушевленные бойцы с криками “Мечь, мечь!” помчались в Муш.

Снег валил всю зиму. Тяжелым, холодным саваном покрыл он долину и горы. Турки и курды, узнав о приближении армянских добровольцев, бежали в страхе, а те немногие фидайны, что прятались в пещерах, наверняка замерзли. Или умерли с голоду. Но оказывается, армяне так не умирают, а если и умирают, то воскресают. На следующий после освобождения Муша день, 6 февраля, юноша по имени Тамо пересек гору Куртик, добрался

пешком до Гелиегузана и, взобравшись на самый высокий холм, прокричал:

— Армяне, выходите из своих укрытий, я вам принес радостную весть. Керы и Ишхан заняли Ван, Андраник и Амазасп — Битлис, Дро — Муш. Свобо-о-да-а! Свобо-о-да-а!

Тяжелая, мерзлая земля вздрогнула, словно ожила. Вышли фидайны из лачужек и землянок. Пристегнув патронташи и взяв на плечо ружья, двинулись в Муш. Десять месяцев кряду они оказывали сопротивление регулярной турецкой армии и курдским разбойничьим бандам, бурану, пурге, голоду и жажде. Командующий фронтом Силикян и русские офицеры оказали теплую встречу безымянным героям, намеревались отправить их на Кавказ, чтобы залечили они свои отмороженные руки и ноги, но сасунские и мушские гайдуки отказались уезжать:

— У нас здесь дела еще есть...

Они организовали карательные отряды, разыскали и нашли мушского наместника Сервита-пашу, уездного начальника Далиба, Сатыга-ага, Ибрагима, Сулеймана и, конечно же, Зейналбека, других палачей и погромщиков и со всеми расправились должным образом.

Когда я в последний раз ездил в Болгарию навестить родню, я рассказал бабушке, как армянские гайдуки казнили Зейналбека. Думал, обрадую, а она только удивилась:

— И как это им удалось?! Ведь в его жилах текла не кровь, а змеиный яд.

Помнится, как-то раз бабушка пришла в сильное волнение, обнаружив на моем прикроватном столике фотографию Талаата, помещенную на какой-то странице стенограммы суда над младотурками, изданной на французском языке.

— Не хватало мне карточки этого чудовища. Подумать только, сынок, ты вез его аж из Армении и поселил у меня в доме. Да ведь это же монстр, изверг, недостойный даже погребения...

Так говорила моя бабушка, чья семья в годы депортации не понесла потерь. Свою красавицу жену и трех дочерей мой дед невредимыми доставил в Ракку* и невредимыми привез обратно.

Справедливы те, кто утверждает, что 1915 год не кончился в пятнадцатом. Он продолжался еще долго, теперь уже в форме

* Пустыня в Месопотамии, куда во время геноцида 1915 года переселили армян, многие из которых погибли.

политических репрессий. На долю всей нашей семьи, даже после репатриации в Советскую Армению, выпало немало тяжелых испытаний. Мой дядя был сослан в Сибирь за то, что сыграл роль Согомона Тейлеряна в пьесе “Падение Талаата”, поставленной на сцене армянского любительского театра в Болгарии. О том, насколько наивной и бесхитростной была постановка, говорит уже одно название пьесы. Идея, замысел ее могли зародиться лишь в голове армянина, пережившего геноцид и не верящего в свое спасение. Но главная вина моего дяди состояла в том, что он самовольно внес дополнение в свою роль. В сцене убийства Талаата на Шарлоттенбург в Берлине его герой сымпровизировал: подойдя сзади, рыцарским жестом положил руку на плечо этого, по выражению моей бабушки, монстра, и когда тот, обернувшись, удивленно спросил: “Что вам нужно, молодой человек?”, дядя произнес: “Кровь полутора миллионов армян” и только потом уже нажал на курок.

Скажите-ка на милость, каким образом история с этим эпизодом стала известна информаторам госбезопасности Степанаванского района?

— Крови захотелось, да? — бросил следовательно в лицо моему дяде, который всего лишь несколько дней как репатриировался. — Так я тебя в такое место упеку, что до конца жизни кровью будешь харкать...

Родню моего отца в 1915 году вообще не выдворяли. Дед мой Арутюн, чье имя дали моему старшему брату, был единственным кузнецом в городе, и турки его не трогали. Он был нужен, чтоб ковать лошадей беев и пашей. Дед же в глубине души радовался, гордился предоставленной привилегией: смотри как турки уважают и ценят его, без него и жизни себе не представляют.

Однако, когда постепенно стали возвращаться выжившие и рассказывать о потерях, ужасах, творившихся в Ракке и Дейр-эз-Зоре, мой дед со стыда заперся в доме. Как же он мог все эти годы работать на них, есть-пить с ними за одним столом, в то время как его соотечественники... Не армянин он, что ли? Не сумел смириться с тем, что его не выслали, что не разделил он с родней и близкими их участи. И однажды попытался покончить жизнь самоубийством. Отец мой в роковой этот момент случайно оказался близко и спас его.

Во время последней депортации, осенью 1922 года, мой дед Арутюн с семьей уехал в Болгарию. И как только открыл паспорт и прочитал на штампе, проставленном при переезде через турец-

кую границу: “Без права на возвращение”, понял, что никогда больше не увидит родной земли. Тогда дед предпринял вторую попытку самоубийства, и как ни странно это звучит, удачную...

С Сулухского моста, наверное из проезжающей машины, доносятся напевы мугама. Обычно так громко включают свои музыкальные установки наши водители на пирушках с близкими в ущелье Гегарда. Мысленно я унесся далеко-далеко, был с тобой, мама, и еще не пришел в себя окончательно, когда увидел, как, спотыкаясь, по усеянной щебнем дороге побежал вниз к реке парень и стал мочиться прямо в воду. Затем, оглянувшись по сторонам и заметив меня, подошел ко мне:

— Эми*, почему ты плачешь?

— ...

— Если горе у тебя, поделись со мной. — Видимо, мое молчание прибавило в нем сочувствия ко мне. — Я приехал сюда с семьей, чтобы пообедать на берегу реки, отдохнуть.

— Моя мать девяносто лет назад играла здесь “в камушки”. — Сказал и сам же удивился собственным словам: как так играла? Он же от души обрадовался:

— Так бы и сказал. Значит, земляки мы с тобой.

— Но я армянин.

— Какое это имеет значение, земляки мы.

На мосту появилась женщина с двумя детьми. Заметив нас, они спустились вниз, подошли к нам со всем своим хозяйством — корзинами, циновками.

— В гостях он здесь, я попросил его уважить нас и отобедать с нами, — представил он меня.

Гость на Востоке — статья особая, не то что во всем остальном мире. И даже у нас, в Армении. Женщины и дети почтительно поклонились, поцеловали мне руку, приложили ко лбу. Что мне оставалось? Я приветливо улыбнулся женщине, погладил детей по головкам.

В сновиденье мне овцой

Задан был вопрос такой:

“Бог детей твоих храни,

Как на вкус младенец мой?”

О.Туманян (перевод М.Павловой)

* Дядя (турец.).

Конечно, они обиделись, ведь я и не попрощался толком, взял да и удрал — ну никак не мог смириться с перспективой пикника в их обществе, не представлял себе, что мы можем сидеть лицом к лицу и есть-пить...

Почему для турка не имело значения, что я армянин, а для меня его национальная принадлежность имеет значение? Почему?

А впрочем, какие тут могут быть вопросы, я и сам знаю почему.

В “Падении Талаата” болгарских армян больше всего воодушевляла сцена, разыгранная моим дядей. Устраивались даже уличные представления, люди подражали ему: кто-то мог положить руку кому-то на плечо, и когда тот спрашивал, что он хочет, первый бросал ему в лицо: “Кровь полутора миллионов армян...”

Но что пользы от того, что мы хотим, мама, что мы хотим этого уже девяносто лет. Разве воздаст кто? Даже прощения не попросят.

Пойду-ка я спать. Посмотрим, удастся ли?

Басен

7 сент., 05

Дорогая мама, дядюшка Арутюн окончательно выжил из ума. Представляю, как бы разжалобилась и переживала ты, увидев его в таком состоянии. Но и в твои времена, помнится, в нашем Новом Арабкире умалишенных было много, слишком много. Почему — мы тогда не знали да особенно и не задумывались. Надо было французскому психоаналитику Элен Пиралян по прошествии многих лет завершить свои исследования, проведенные в Армении, Арцахе и в Турции, издать ныне известные во всем мире и переведенные на многие языки книги, чтобы мы постепенно осознали и убедились, что травмы после перенесенного стресса не только не исцеляются, но и, углубляясь, передаются из поколения в поколение, вызывая неподвижные нарушения.

Книги тикин Пиралян я перевел недавно, но с постгеноцидным синдромом, который в различных случаях проявляется по-разному, знаком давно. Далеко ходить не приходится. Среди жильцов нашего дома было много таких, которые родились спустя достаточно времени после 1915-го года, однако, помню, они вечно чего-то боялись...

Дороги Турции и вправду хорошие, благоустроенные. Незаметно преодолев обозначенные на туристской карте светло-коричневым цветом склоны холмов, а темно-коричневым — горные массивы, мы приближаемся к зеленой, изумительной красоты до-

лине, которую Хоренаци назвал “Просторное поле”, Агатангехос* — “Храбрая долина”, Ластивертци** — “Большая усадьба”. Но что поделаешь, турки и здесь постарались. Выставили перед туристами вывеску с новым названием “Басенлар”. Невольно припомнилось, мама, как мы каждый день поутру шли в детский сад. Сперва по нашей улице Фурманова, затем сворачивали в первый переулок Ватутина и, пройдя улицу Фиолетова, по проезду “Правда” выходили прямо к моей начальной школе. Ты же, читая по складам указатели, в растерянности говорила: “Что это за Армения такая...” Однако турки не довольствуются только переименованием всего и вся. На стенах казарм, выстроившихся в ряд вдоль дороги, мы читаем: “Или герой ты, или жертва”, “Родина прежде всего”. И здесь, как и повсюду на протяжении всего пути: “Блажен, кто считает себя турком”. Меня это не отвращает и не отталкивает, мама, ведь я знаю, что мы сейчас едем по Ахбераканц долине; что уходящая в небо крепость — это Бердак, а река, что журчит рядом, — Арцатахберк. И что это моя родина. Помню, когда, возвратясь из школы домой, я садился за уроки и твердил: наша родина — Советский Союз, а столица — Москва, ты молча слушала, но потом, выбрав удобный момент, читала, разучивала со мною стихи. Из них, к сожалению, мне запомнились лишь отдельные строки:

*Раскрой, о родина, объятя мне свои,
Роса я, луч твой предрассветный,
Я внук Вардана Храброго, торящего пути
К весне — мечте твоей заветной...*
(перевод подстрочный)

Признаться, я не понимал значения отдельных слов и не мог сообразить, почему ты заставляешь меня повторять: родина-мать, отечество; не мог взять в толк: отечество — это мой отец? Или моя мать?

Да будет светла ваша память — твоя и отца, не обижайтесь, но здесь, в Западной Армении, я убедился, что превыше всего в этой жизни родина. И долг перед отечеством, как сказал Ваагн Давтян, ты должен оплатить своею кровью:

* Армянский историк V в.

** Армянский историк XI в.

*Ну, что сказать — я фиданн, родиться опоздал,
 Но должен был пролить я кровь
 В горах холодных Эрзрума,
 В святой войне твоих сынов.*
 (перевод подстрочный)

Ты не тревожься, я не псих и не сумасшедший, о которых пишет в своих трудах Элен Пиралян. Максиму, водителю нашего автобуса, ты уже о нем знаешь, больше сорока, прошел всю Арцахскую войну до победного конца. Человек он самоуглубленный, замкнутый, необщительный. Так вот, наш Максим, который делает по пятьсот километров пути каждый день, но не произнесет и пяти слов, читает на указателе: “Ясанкала” — и вдруг ошеломленно, задыхаясь от волнения, спрашивает:

— Куда это мы приехали?

— В Вагаршаван, столицу царя Вагаршака, основанную им две тысячи лет назад.

— А где остался Камрджагех?

— Вон он, на вершине холма.

В первую минуту мы не понимаем, что происходит. Максим, резким поворотом руля нарушив все правила движения, припарковывается, прыгивает вниз с высоты своего “пьедестала”, как подтрунивает над ним Мкртыч, и бежит в сторону деревни. С полдороги он возвращается, хватая большой мешок, лопату и исчезает. И пока мы ищем глазами Богоберд и Мажанкерт*, Максим уже идет обратно, согнувшись под тяжестью полного земли мешка. В багажниках нашего автобуса полно и земли, и камней, и воды.

— Зачем тебе так много земли, Максим?

— Отвезу в Сисиан, на кладбище, и рассею, как семена, на могилах моего деда, бабушки, тетушек. Многие из нашей родни умирали с тоской по Камрджагеху. Не могли описать словами эти пастбища, нивы, родники. Слагали, как ашуги, песни.

Нынешние жители Камрджагеха переименовали деревню, теперь она называется Кеопрукьо. С пригорка потихоньку они спускаются вниз, окружают автобус. Опершись на палки, какой-то старик, очевидно аксакал, выступает вперед и, приняв горделивую позу, говорит:

* *Исчезнувшие города исторической Армении.*

— Не по-людски это — по прошествии стольких лет приехали к нам в деревню наши земляки и уезжают, не поделив с нами хлеба. Пожалуйста, будьте нашими гостями.

Я перевожу.

— Как бы не так, быть их гостем, войти в их дом, — возмущается Максим, — будто не они отсекали нам головы и бросали в реку.

Сказал, сорвался с места и погнал автобус дальше. По дороге рассказал, как во время резни подоспевший в последнюю минуту Зоравар Андраник взял под свою защиту оставшихся в живых камрджагехцев и берегом Аракса, через нахичеванские горы, доставил в Сисиан. Но после нашлись среди них такие упрямцы, которым новое место жительства не понравилось, и они пожаловались Зоравару:

— Мы здесь жить не будем, этот край нам не подходит.

Андраник же, который добровольно вызвался спасти свой народ, в этот ответственный момент не выказал ни досады, ни раздражения. Он с пониманием отнесся к беженцам и сопроводил их в речную долину Лори.

Турки, однако, не оставляли беженцев в покое и в Восточной Армении. К Андранику, прибывшему со своим войском в Горис, чтобы помочь карабахцам, обратились басенцы:

— Зоравар, Иззет-бей из Нахичевана идет на Сисиан, чтобы истребить нас.

Что было делать полководцу, к кому спешить на помощь? Андраник решает выиграть время. Выбрав одного из самых дерзких своих бойцов, басенца Мартироса Азояна, и еще двоих — Ашота и Нерсеса в качестве сопровождающих, он отправляет всех троих к Иззет-бею с предложением пойти на мирные переговоры. Паша, конечно, распорядился учинить расправу над безоружными гонцами, а после заявил:

— Если они мужчины, так пусть придут и заберут трупы.

Мартирос Азоян, видимо, знал, какая судьба его ожидает, и прежде чем пойти добровольцем в армию Андраника и принять участие в Лорийском, Нахичеванском и Зангезурском сражениях, успел обзавестись семьей и детьми — двумя мальчиками и девочкой. Один из его сыновей — Багдасар ныне живет в Сисиане, стал отцом десятерых детей, самого младшего и любимого назвали Басенци. Когда началась Арцахская освободительная война 1992 года, Азояны подумали, что пришло время отомстить за своего зверски убитого деда. Они организовали добровольчес-

кий отряд “Сисиан” и не позволили, чтобы турок осквернил землю Зангезура (как это сделал в 1920 году их дед Мартирос). Один из внуков Мартироса Азояна — Басенци стал генералом армянской армии, другой, Овик, — полковником. Как видишь, мама, для нас стало обычным делом говорить об армянской армии, об армянах-генералах, армянах-полковниках. А ты, до того как у тебя со зрением стало плохо, по вечерам мурлыкала себе под нос. Вернее, мечтала:

*Увижу ль я когда-нибудь в Карине —
Армянский князь письмом армянским
Издает приказ —
Полки армянские отправить, защитить
Тигранакерт, Муш, Баязет и Ван.*

(перевод подстрочный)

Ты была единственной среди женщин, которая, баюкая новорожденных нашего квартала, пела вместо колыбельной боевые песни:

*Вставай, сынок, сон отряхни,
Уже раздалась труба войны.
Во имя родины умри,
Народ, отчизну сохрани...*

(перевод подстрочный)

Ты пела очень тихо, но отец одергивал тебя:

— Молчи, женщина, здесь и стены уши имеют.

Вспоминается и другая история. Когда Овика Азояна назначили командующим войсковой частью в Сисиане, он построил новое стрельбище, и на склоне холма напротив вскоре появилась надпись: “Слава армянской армии! Вперед к Эргиру!”*. Надпись была сделана такими буквами, что их не стерли бы ни ливни, ни ураганы. И случилось так, что министр обороны Вазген Саргсян выразил желание посетить стрельбище, присутствовать на боевых учениях. Как обычно, за несколько дней до визита министра в войсковую часть приехала группа высших офицеров. Прочитав лозунг, они растерялись:

— Ну и ну, Азоян, слыханное ли дело... что за фортели ты тут выкидываешь? А если министр увидит?.. Сотри, пока не поздно.

* *Переносн. — страна обетованная.*

— Басенцем родился, басенцем и умру, — ударил себя в грудь кулаком командующий. — Не трону я и буквы, если даже поговнов лишите.

Вазген Саргсян остался доволен и новым стрельбищем, и результатами учения. Перед отъездом он, пожимая руку Овику Азояну, сказал:

— До новой встречи...

Азоян же, полагая, что состоится заседание главного штаба, а он не знает об этом, в растерянности спросил:

— Где, господин министр?

— В Эргире, — ответил Вазген Саргсян...

Там, где река Мурц, переливаясь семицветной радугой, спускается с 2800-метровой высоты и сливается с Ерасхом, раскинул крылья семиарочный Овви (Пастуший) мост. Так зовется и деревня Максима. Арки моста, точь-в-точь взявшие за руки великаны, словно отплясывают кочари, бьются о скалы, отзываясь барабанной дробью, река, верещит свирелью зефир, играя в кедровнике, и пируют горы, по-царски набросив на плечи багрянец заката. Чтоб родина твоя была так прекрасна и не была бы твоею!.. Наши каменных дел мастера настолько удачно выбрали место, что серовато-желтый этот мост о семи арках кажется продолжением ландшафта, дополняет его красоту. Он смотрится словно картина в раме. Не по этой ли родине тосковал дядюшка Арутюн? Несколько человек из нашей группы, любуясь, поглаживают, будто ласкают, арки моста, другие прямо в одежде бросаются в воду, я же незаметно прохожу в кедровник. Сколько лет живут кедры? Арутюн-айрик был единственным в нашем околотке, кто не выносил разговоров о резне: как только речь заходила о геноциде, хватался за голову и убегал. Но как-то раз он неожиданно открылся мне и рассказал со всеми подробностями, как его повесили на одном из этих кедров вниз головой, точно жертвенного барашка, и как у него на глазах были зверски убиты отец, мать, две сестры и трое его братьев. Ему тогда было семь лет. Главарь банды намеревался взять его себе в подпаски, но, увлекшись грабежом, в последнюю минуту позабыл о нем. К счастью, его повесили довольно высоко, и шакалы, прыгавшие вокруг него всю ночь, обкусали только ногти на кончиках пальцев и содрали местами кожу с черепа (потому и пальцы рук у дядюшки Арутюна были неровные, а волосы на голове росли местами). И как бы ни избегал он пересказов случившегося, но разве не сводит с ума одно только воспоминание? Но нет, дя-

дюшка Арутюн лишился разума из-за другого. Он пас овец в курдских и арабских деревнях, а повзрослев, с первым же караваном уехал в Советскую Армению. Здесь и узнал, что Басен оказался вне армянской территории. Как же быть? Ведь все его родные остались непохороненными в кедровнике...

Многие наивно полагают, что репатрианты начали уезжать обратно из-за неустроенности быта, неблагоприятных условий жизни. Многие приехали в Армению с призрачной мечтой о Ване, Акне, Алашкерте. Пристанище они нашли в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке. В те времена эти города носили чудны'е названия: Лениканан, Кировакан, Амамлу. Конечно, Гюмри, Ванадзор и Спитак тоже родина, но трудно, оказывается, превозмочь тоску и боль утраты. До сих пор не можем. Максим был прав, когда говорил, что басенцы выражают свою тоску песнями. Дядюшка Арутюн некоторое время жил в подвале нашего дома, и мы каждую ночь слышали, как он печально и надрывно повторял:

— Ах, Басен, вах, Басен...

— Этот человек не выдержит, он или с ума сойдет, или умрет, — покачивал головою отец. А ты, мама, молчала, только слезы сами собой лились из твоих глаз.

Старик сразу стал другим, когда в нашем квартале началось строительство алюминиевого завода и один за другим стали появляться грузовики — самосвалы. Весь день он часами, стоя в пыли на развилке дороги, переговаривался о чем-то с водителями. Оказывается, уговаривал их отвезти его в Басен. Одного из них уговорил-таки. Мы узнали об этом позже. Объяснил даже, как ехать:

— Отсюда до нашей деревни рукой подать. Как только переедем по Пастушьему мосту Аракс — считай, уже доехали.

Понятно, никто из водителей не решался нарушить государственную границу, и он вынужденно показывал пояс с зашитыми в нем золотыми монетами.

— всю жизнь пастухом был, отложил на черный день, — говорил, — но не пожалею, все отдам. На здоровье тому, кто меня до места доведет...

Так он твердил изо дня в день, и однажды какой-то из водителей (звали его Жора), смекнув, что старик сошел с ума, решился на обман. Он посадил дядюшку Арутюна в кабину своего грузовика и сказал:

— Я знаю место, где легко будет переплыть реку. Если дашь десять золотых, сегодня же ночью доставлю тебя в твою деревню. Смотри, проговоришься кому-нибудь — пропадем оба.

Старик поблагодарил судьбу, собрал узелок с хлебом. В полночь приехал Жора, втиснул старика в угол кузова, прикрыл тряпьем. Он долго кружил по заводской стройплощадке и наконец двинул в сторону Разданского ущелья. С грохотом проехав по Арзнийскому мосту, он тихо постучал в окошко кузова:

— Приехали, плати и спускайся.

Дядюшка Арутюн спустился, отдал золото. В кромешной тьме он разглядел селение, действительно очень похожее на его деревню. Поблуждав немного, он подошел к первому же дому, где светилось окно, — оттуда донеслась ассирийская речь. Старик обрадовался: “Наверное, горские ассирийцы спустились и обосновались в наших домах”.

Воспряв духом, он решил заглянуть в окно и увидел на стене большой портрет Сталина. Старик отпрянул от окна и в ужасе убежал. Все эти подробности, прежде чем стать достоянием толков у нас в округе, уже были известны чиновникам госбезопасности. Старика арестовали.

— Ты пошел на тяжкое преступление, — сказал ему на допросе следователь. — Или ты проведешь остаток своих дней на сибирских болотах, или будешь с нами сотрудничать. Мы очистим ваш Арабкирский квартал от антисоветского отребья. Решай сам свою судьбу.

Тут в комнату, якобы случайно, вошел начальник отдела и, будто невзначай услышав конец разговора, предупредил:

— Завоевать наше доверие не так просто, прежде мы должны проверить твою политическую бдительность. Положим, тебе удастся нарушить государственную границу и ты заметишь, что в Араксе тонут два человека: один из них армянин-дашнак, другой турок-коммунист. Кого ты первым вытащишь из воды?

И как на это должен был прореагировать дядюшка Арутюн, у кого на глазах закололи отца, мать, сестер и братьев?

— Конечно турка-коммуниста, — заявил он решительно.

— Вот молодец, — обрадовался начальник. — Объясни почему?

— Чтоб задушить его собственными руками.

— В Сибирь! — прорычал начальник, незаметно подмигнув стоявшему у дверей охраннику. Тот вывел старика через черный ход на улицу и отпустил на волю.

Трудно сказать, что побудило гэбэшников пойти на этот шаг: то ли они уверились окончательно, что дядюшка Арутюн душевнобольной, то ли, возможно, внутренне были единоподушны с ним...

Сигнал автобуса вспарывает тишину. Меня зовут: я вечно опаздываю, задерживаю всех. В последний раз (в последний ли?) в спешке оглядываюсь вокруг. Что унести из кедровника для дядюшки Арутюна? Может, вырвать прямо с корнем молодой побег? Но увы, поздно — сознание старика замутнено давно и вряд ли прояснится когда-нибудь.

Ты не представляешь, мама, какие кошмарные дни и ночи пережил я после того, как предал тебя земле. И страдал я не только от того, что потерял тебя, а больше из-за того, что не сумел выполнить твое последнее желание — доставить тебе воды из Акна. Мысли неотвязно преследовали, мучили меня так сильно, что думаю, оттого и приснился мне этот сон. Не знаю, каким образом очутился я в Акне. Не желая терять ни минуты, быстро-быстро хватаю все, что попадает под руку: землю и щебень горстями, куст, побег. Вдруг появляешься ты, подходишь ко мне и говоришь:

— Не мучай себя, сынок, ведь ты не можешь увезти с собой всю Западную Армению.

А ведь правда — сколько ни загружай мы автобус, не перевезем свою страну.

По мере приближения к границе все чаще и больше попадают на нашем пути военные городки, и все воинственней звучат воззвания.

— От кого они защищают нашу землю? — вслух размышляет Мкртыч.

— От нас, — отвечается Жанетт.

Ясно, туркам не нравится, что растет число армян, что страна восстановила независимость и что мы зачастили в Западную Армению. Младотурки считали, что Абдул Гамид обманул их надежды по части реализации идеи повального уничтожения армян. Не довел до конца. Кое-где оставались дети. Повзрослев, через 15-20 лет именно они, по их мнению, организовали добровольческие отряды, попытались отомстить за своих предков и освободить Западную Армению.

Исходя из этого Талаат в начале 1915 года отправил своим наместникам шифрованную инструкцию: “На турецкой земле армяне не имеют права на жизнь и на труд. Правительство всю от-

ветственность берет на себя, приказывает не жалеть детей, даже младенческого возраста”.

Исчезают пастбища и родники Ахбераканц долины Басена, уступая место дивному Каринскому плоскогорью. Различимей становятся вершины Айцпткунка и Цираника:

*Поднялся крик с огромных гор, где дремлет Эрзрум,
Сердца армян потрясены, услышав бранный шум.*

Военная эрзрумская песня (перевод В. Брюсова)

Если бы турки уничтожили всех армян поголовно, вплоть до последнего младенца, — все равно эти горы, долины, реки и ущелья не забывали бы, кричали, что они армяне. Они и сейчас кричат.

Что делать, если некоторые не слышат... Делают вид, что не слышат...

Карин

8 сент., 05

По дороге в Карин не только я, но уже все мы вместе громко запели:

Поднялся крик с огромных гор, где дремлет Эрзрум...

В том, что мы направляемся в армянский город, к тому же не в обычный город, а в древний столичный град, никто не сомневается. И чтобы придать большей уверенности друг другу, мы вспоминаем историю: к примеру, как в 1877 году Лорис-Меликов освободил, а в 1918-ом Андраник защитил город. Перечисляем гимназии: мужскую Санасарян, женскую Рипсимян, общие — Мсрян, Тер-Азарян; издаваемые еще до младотурецкой революции газеты “Парос”, “Арадж”, наконец, Союз национальной защиты — “Паштпан айрениц”...

Эрзрум современный и очень приятный, даже красивый город, но к Карину никакого отношения не имеет. Весь день мы блуждаем, кружим по его улицам, проходим из одного квартала в другой, читаем по складам рекламы, афиши, даже вывески — но ничего армянского. Лишь на подступах к акрополю увидели стоявшую особняком церковь, превращенную в мечеть. Так, каждое утро мы отправляемся в путешествие по городу, позабыв о переживаниях предыдущего дня, о том, что нам предстоит испытать разочарование, быть обманутыми в надеждах, — словом, все то же, что и вчера. Уже который день... У большинства наверняка нервы на пределе и терпение иссякло. Гагик фотографирует

со всех сторон стертые надписи на церкви, превращенной в мечеть, кипятится, возмущается:

— Все эти фотоснимки я должен проявить и распространить... Под суд отдам преступников.

— Преступников давно осудили сами же турки, — спокойно заявляет Грант. — Притом присяжные военного верховного суда.

— А наказание? Их наказали?

— Конечно.

— Кто?

— Согомон Тейлерян.

Жанетт не участвует в разговоре, тихо напевает:

*Талаат-паша удрал в Берлин,
Вдогонку Тейлерян за ним,
Всадил он пулю в лоб ему и шмякнул наземь сатану,
Вина налей, налей вина,
Восславь героя, пей до дна.*

(перевод подстрочный)

Согомон Тейлерян, боец Андраника, освободивший Эрзерум — в те времена армянский город Карин, попросил своего военачальника отпустить его на один день в родное село Багарич. Здесь глазам его предстала страшная картина: родной дом, превращенный в пепелище, истерзанные тела матери и сестер. И вдруг у него в ушах раздались истошные вопли, жалостливые крики, голоса, молящие о помощи, предсмертные стоны. Он чувствовал горячий запах крови. Повернулся, чтобы убежать, но у него закружилась голова и он упал. Во сне к нему приходит мать...

Впоследствии припадки и кошмары учащаются, будут повторяться. Продолжение истории известно всем.

Старшина коллегии присяжных берлинского окружного суда третьей инстанции Отто Райнеке, вернувшись после двухдневных судебных прений в зал суда, огласил решение суда присяжных: “ВОПРОС: Виновен ли подсудимый Согомон Тейлерян в умышленном убийстве Талаата-паши, совершенном 15 марта 1921 года на Шарлоттенбург в Берлине?

ОТВЕТ: Нет”.

Сарикамыш

9 сент., 05

Впервые мы двигались против течения реки, доехали до самых истоков Куры, что роковым образом отразилось на нашей поездке, хотя за все время путешествия нас ни разу не одолева-

ли суеверные мысли. Если у кого они и были — скрывали. Но все по порядку.

Вокруг простираются прославленные сарикамышские кедровые леса. Предание гласит, что Ной построил свой ковчег из растущего здесь финикийского кедра. Конечно, кедровники уже давно не такие, какими они упомянуты в урартских клинописях или как их описывает средневековый турецкий путешественник Эвлия Челеби.

Хотя и дуплистые, с толстой корой вековые деревья гниют уже, но корнями, не потерявшими, очевидно, своей жизнестойкости, способствуют застаиванию горных потоков, образуя болота. Не потому ли речка, что берет начало с Мецрацских горных высот и лениво течет вдоль обочины шоссе, называется Ехегнут^{*}? Автобус останавливается на развилке у въезда в город. Мы выходим из машины, чтобы привести себя в порядок. Замечаем на перекрестке мемориал из белого мрамора. Памятник посвящен турецким аскерам, одержавшим, согласно их историкам, триумфальную победу в русско-турецкой войне. Турецкие солдаты представлены в горделиво-мужественной позе, русские же драгуны имеют жалкий вид. Скульптурная группа включает также и бесформенные, нескладные фигуры человечков в папах — это армянские добровольцы.

Грант повесил через плечо съемочную аппаратуру и направился обратно к автобусу.

— Куда ты, Грант?

— Я не поеду в Сарикамыш.

Жанетт, понятно, последовала за ним.

— И я тоже.

Мы не поехали в Сарикамыш.

Если еще остались в мире коренные сарикамышцы, точнее, армяне-ехегнутцы, пусть не обижаются. Сколько можно посещать музеи, обозревать памятники, прославляющие непобедимость османского оружия, осуждающие “армянских террористов” и утверждающие невинность турок! Не говоря уже об исчезающих, словно их никогда и не было, армянских церквях и хачкарах.

9 декабря 1914 года военный министр Турции генерал Энвер-паша двинулся с 90-тысячной армией и с курдским кавалерийским корпусом в составе 14 тысячи верховых на Кавказский фронт, чтобы отшвырнуть — хорохорился он — “беложопых

^{*} Камыш.

русских от Черного моря” подальше. Именно здесь, в Сарикамышской битве царские войсковые соединения, в составе которых сражались четыре армянских добровольческих отряда под командованием Андраника, Дро, Амазаспа и Керы, уничтожили 92 тысячи аскеров, оставшиеся 12 тысяч не выдержали жестоких холодов.

— Эх, Ленин, Ленин, — сокрушался до самой своей смерти наш школьный сторож Бартух Барунакян, боец Андраника, — уж сделал бы ты свою революцию или еще какую глупость чуть позже. Мы ведь вот-вот должны были, да что я говорю — мы уже освободили Западную Армению.

Жизнь Энвера в последнюю минуту спас армянин Ованес, командир турецкой полусотни. Военный министр поцеловал его в лоб и тут же на месте присвоил ему звание сотника.

Проезжая через армянские города во время отступления, вернее, бегства, он в своих публичных выступлениях всячески восхвалял храбрость и преданность армянских воинов, выражал признательность армянам, а местным властям велел ждать особых предписаний, кои надо было незамедлительно реализовать. И предписания эти не опоздали.

15 апреля 1915 года по возвращении в Константинополь Энвер с Талаатом и Назымом, пользуясь удобным случаем — шла война, подписали приказ о тотальном истреблении армянского народа: “...уничтожить этот чужеродный элемент, рассчитаться с ним окончательно, погнав в Аравийскую пустыню...”

Конечно, ни один армянин в мире не мог смириться с потерей родины. Тем более Александр Мясникян, тогда один из руководителей революционного движения на Западном фронте. И покуда на Кавказе царские офицеры и рядовые срывали погоны, бросали оружие и возвращались домой, у него зародилась идея организовать отряд из воевавших в его войсковом соединении армян и отправить в Армению. Уговорить верхи было нетрудно: “У армян свои счеты с турками, будут сражаться храбро...”

Командир эскадрона разведки Акоп Мелкумянц старательно ложил клинок своего меча, когда к нему подошел комдив Жуков:

— Не усердствуй очень, домой скоро поедешь...

— Я?..

Мелкумянц поднялся с места, с сомнением посмотрел на Жукова, и хотя не очень поверил его словам, но мысленно уже устремился в Шуши, берегом Тартара достиг Херхана. Неужели пос-

ле стольких лет он увидит родную деревню, их родник, которому нет равных в мире...

— Погоди радоваться, не тутовку пить едешь, а воевать. Приказ Мясникяна.

Мелкумянц направился в казарму, обошел все взводы, и пока занимался вопросами формирования боевого отряда, в штаб пришла телеграмма чрезвычайного комиссара по делам Кавказа Степана Шаумяна: “Торопитесь, страну теряем”.

...Остались позади Рига, Смоленск, Воронеж. Поезд медленно двигался по освобожденным от белогвардейцев территориям. В Самаре в поезд поднялся какой-то офицер.

— Вас требует к себе командующий Туркестанским фронтом, — обратился он к Мелкумянцу.

“И что за дело может быть у Фрунзе ко мне?” — недоумевал тот.

К счастью, штаб находился на самом вокзале, в вагоне, что стоял в тупике. Михаил Васильевич встал с места, пожал Мелкумянцу руку, предложил ему сесть.

— Мы вас давно ждем, Яков Аркадьевич. Скажите, где прошло ваше детство?

— В Ашхабаде. Сирота я. По национальности армянин.

— Знаю, знаю. Какими местными языками владеете?

— Таджикским, узбекским...

Командующий фронтом раскрыл лежавшую перед ним папку:

— О туркменском вы забыли...

Мелкумянц оторопел. И было из-за чего. Красная Армия сформировалась недавно, а секретный отдел уже успел собрать все сведения о нем.

— Словом, — Фрунзе закрыл папку, — мы направляем вас на войну против басмачей...

— Как? Ведь я...

— Товарищ офицер, забудьте царские порядки, — командующий фронтом встал с места, выпрямился, — в Красной Армии приказы не обсуждают, их выполняют...

Энвер-паша, наверное, был единственным из иттихатских главварей, кто не признал своего бесславного поражения. Себя он ставил превыше и Талаата, и Джемала, всех — ведь он окончил военную академию в Берлине, был зятем калифа, то есть наместника Мухаммеда в мусульманском мире, и наконец, был убежден, что он самый обаятельный мужчина во всей Турции.

Он долго скитался по Европе, пробовал задобрить немцев, какое-то время оказывал услуги английской разведке, в Москве

коммунистом даже прикинулся, но поскольку одержимость магией величия нигде не приветствовалась, решил, в конце концов, двинуть в Среднюю Азию. Он не скрывал своих намерений возглавить восстание басмачей, затем объединить все территории от Памира до Крыма — Иран, Афганистан, Бухару и провозгласить себя калифом. Естественно, он не признавался, что оставил цивилизованный мир и обосновался в Туркестане из страха перед армянскими мстителями, стремясь замести следы. Последние два года пули их метко попадали в цель в Берлине, Риме, Тифлисе, Стамбуле.

К этому времени пуля 25-летнего Согомона Тейлеряна уже настигла Талаата в Берлине.

Прогремел выстрел 21-летнего Аршавира Ширакяна, и в Риме пал великий визирь Турции Саид Халим.

Пуля 20-летнего Арама Еркяна сразила в Тифлисе председателя мусаватистского Азербайджана, палача бакинских армян Хан-Хойского.

Выстрелом 33-летнего Мисака Торлакяна в Стамбуле был убит министр внутренних дел мусаватистского Азербайджана, гонитель шушинских армян Бейбут-хан Дживаншир.

Пули Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Григора Тагуляна — Шек Арьяца (Рыжий Лев) сразили Беазедина Шакира, Джемаля Азми и, наконец, Джемалья-пашу...

Пусть теперь попробуют найти его среди каменистых скоплений Зеравшанского хребта, в бездонной теснине смерти Дейнау...

Энвер хорошо знал историю и потому телеграфировал, чтобы его встречали именно в Термезе. Поприветствовав, как того требовал восточный этикет, вытянувшись в струнку с саблями наголо курбаши, джадитов и атаманов прочих разбойничьих банд, он, указав на древнюю военную дорогу, сказал:

— По этим извилистым тропам прошел Александр Македонский, проиграл и ушел, потерпели поражение и ушли Чингиз и Тимур ханы. Я пришел, чтобы победить и остаться... Кто командует вражеской армией?

— Ягуб Мелкумянц.

Усы паши сразу же встопорщились.

— Неужели армяне дошли и до этих гиблых мест?

— Да разве только сейчас они дошли?.. Сурен Долунц у него начальником разведки, Саакян — уполномоченный главного военно-революционного бюро, здесь находятся комиссар корабля “Самарканд” Абрамян, начальник спецотдела кавалерийского

соединения Саруханян, а также Тонян, Тейльянц, Мкртчян, Наринян, Барсегов.

— Ведь знал же я, что они нелюди, что не имеют права на жизнь, — с дрожью в голосе заговорил Энвер. — Они, что грибы: чем больше голов им отсекаешь, тем лучше размножаются. Я разделаюсь с тобой, Ягуб! — вдруг взревел он, — собственными руками посажу на кол!

Хотя Акопа Мелкумянца назначили командиром Первой кавалерийской бригады, он в душе завидовал Согомону Тейлеряну, Араму Еркяну, Аршавиру Ширакяну. Они, как мужчины, встали лицом к лицу с противником и разрядили свое оружие прямо в лоб врага. А он и Энвер сражались друг против друга армиями, и к какой бы тактике ни прибегал он, в последнюю минуту этот авантюрист и приспособленец, изловчившись, удирает. Энвер, не умея оказать сопротивление бригаде Мелкумянца, тем не менее провозгласил себя главнокомандующим мусульманскими войсками.

Афганистан помогал ему живой силой, Англия — военным снаряжением. И потому, когда однажды ранним утром адъютант, не постучавшись, вошел в его спальню и доложил о том, что конные полки Мелкумянца стремительно приближаются к лагерю, паша и с места не сдвинулся. Он всю ночь кутил, пьянствовал, и у него болела голова.

— Да кто такой армянин, чтобы посметь нарушить мой покой! — сказал. — Кроме того, наша разведка донесла, что нападение назначено на восемнадцатое июля...

Слова паши прервал резкий голос Мелкумянца:

— Эскадрон пулеметчиков, в атаку, вперед!..

Энвер вскочил с постели, попытался одеться с помощью адъютанта, но не смог — руки дрожали. А под окном уже свистели сабли. В спешке, в одних подштанниках оседлал он коня и удрал. Погоня длилась ровно семнадцать дней. Энвер с двумя преданных ему басмачей, маневрируя, прорывался через заснеженные перевалы и бурные потоки и уже приближался к границам Афганистана. Лишь в пограничной деревне Чаган он перевел дух и решил сходить в мечеть, чтобы возблагодарить Аллаха за спасение своей жизни. Там и настигли его бойцы годовного отряда Мелкумянца.

— Ворвемся, свяжем ему руки и ноги и увезем, — предложил казак Гришка.

— Нет, — покачал головой хохол Савко, — кто бы он ни был, но молитве мешать не следует.

Энверу доложили о появлении бойцов Мелкумянца. Не завершив намаза, он выбежал из мечети, вскочил на коня и помчался по дороге, ведущей к Афганистану.

— Огонь! — закричал Савко. — Огонь! Он вот-вот перейдет границу.

Застрекотал пулемет: “Эта очередь от Мелкумова, и вот эта, и эта...”

Поздно вечером Иван Савко предъявил своему любимому командиру военные трофеи, извлеченные из кармана Энвера: архиважные с точки зрения военной разведки письма — позже некоторые из них были опубликованы в “Правде” — и личную его печать с надписью “Главкомандующий исламскими войсками, зять калифа, наместника Мухаммеда”.

Ты спросишь, мама, наверное, почему мы ничего обо всем этом не знали? По очень простой причине. После расстрела хорторджурцев, которые убили Джемалю-пашу, Сталин, будто между прочим, поинтересовался:

- Кто разгромил Энвера в Туркменистане?
- Конная бригада Акопа Мелкумова.
- Мелкумов, он есть?
- Конечно, недавно окончил Военную академию имени Фрунзе.
- Разоблачить.

Было ясно, что это означает. Палачи госбезопасности тем не менее учли, что у Мелкумянца четыре ордена Красного Знамени, и заменили расстрел 20-летней ссылкой. Акоп Мелкумянц был освобожден спустя 19 лет, когда ему исполнился 71 год.

Едва успел написать мемуары...

Ардаган
10 сент., 05

Добрый вечер, мама!

Наконец-то я понял, почему турки с такой легкостью позволяют армянам — даже из спюрка — посещать Западную Армению (теперь они называют ее Восточной Анатолией). Они хотят, чтобы мы воочию убедились в том, что потеряли наши бывшие земли, и раз и навсегда забыли о них.

Мы въехали в Ардаган, вышли на берегу Куры из автобуса, пройдя по средневековому мосту к крепости, стали бок о бок у

основания башни и неторопливо обозрели окрестности. Насладились вдоволь красотой нашей родины. В крепости была размещена казарма, и, скажу я тебе, патрули дозорной службы наблюдали за нами с нескрываемым интересом, но нас это ничуть не сковывало. Уверены были, что мы не одни, что с нами рядом Согомон Тейлерян, Аршавир Ширакян, Арам Еркянян, Мисак Торлакян, Петрос Тер-Погосян, Арташес Геворкян, Григор Татулян.

“Армянин наказывает справедливо и по-божески”, – говорит Шаан Натали*.

Я не чувствую себя беспомощным и беззащитным беженцем, как ты когда-то, и вовсе не потому, что с нами рядом наши герои. В отличие от тебя я не во сне, а наяву вижу Карс, Ардаган, всю Западную Армению. Вижу с высот победившего Шуши.

Доброй ночи, мама...

ПРОЛОГ В КОНЦЕ

Ему сейчас намного больше лет, чем его покойной матери. Субботними вечерами он, следуя семейной традиции, посещает ее могилу. На этот раз, однако, у него нет ни цветов, ни ладана, ни свечи. Подойдя к надгробию, он достает из кармана флакон и капля по капле кропит, как миром, могильный холмик. И смотрит, как неутолимо-жадно впитывает в себя влагу истомленная жаждой земля.

С видом человека, исполнившего долг, мужчина наклоняется, чтобы поцеловать надгробие матери и отойти, когда из глубины могилы до его слуха доносится голос:

– Время уже, сынок?

Ошеломленный, он ищет слова, чтобы ответить, но тут ожидают, отзываются разом все могилы:

– Время возвращаться домой?..



* Один из организаторов Комитета народных мстителей.

Рачья Тамразян

ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ВИНОГРАДА

Перевод В.Пальчикова

ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ

Дождь раскинул летящие сети
И умчался в рассветный дымок.
Что за музыка — сны на рассвете!
Поздно встал я и вспомнил, что мог.

Бережливый туман под полою
Сил и замыслов копит запас.
Рядом с будущим дышит бывшее,
Их согласие бесценно для нас.

Почва влажная в мягком тумане,
Словно женщина, изнемогла,
Вся — взбуханье семян,
Вся — вздыманье
Чуткой плоти, живого тепла.

Мир текуч, — и с дождями косыми
Из ещё не наставшего дня
Миг за мигом, за именем имя,
Жизнь за жизнью плывут на меня.

Мозаика нежных мерцающих грёз
Осыпалась — и погребла города.
Бессмысленным крошевом ветер занёс
Хранилища памяти. Нет и следа!

Пространств опустелых слепит белизна,
С тоской обернись и бывшее запри.
Там спит позабытая маска одна —
Внутри, в лабиринтах неспешной зари.

Потерянный голос нащупь найди.
 Шершава ладонь, осторожна стопа.
 Сосуд опрокинутый — сердце в груди,
 Любовь, точно каменный идол, слепа.

Судьба забродила, как тесто, и вот
 Терзает загадкой, угрозой, игрой —
 Близка, ощутима, как вспученный ход
 Расплавленных масс под земною корою.

Тоску и надежду познать мне дано,
 И нету меж них несогласья, вражды,
 Я здесь, я с простором ночным заодно,
 Блуждаю часами под сенью звезды.

Мы Голос услышим над вечностью сна —
 Очнется душа, вострепнется в ответ,
 И станет она мирозданию равна,
 Увидев самой запредельности свет.

Иную землю и цветы другие чую
 За гранью памяти, за смутною межой.
 Я ухожу. Того, что истинно, ищу я.
 Жить жизнью следует своей, а не чужой.

Травинки малой не обеспокою
 И хрупкой веточке не причиню вреда.
 Я стану почвой, почва станет мною,
 И будем мы одно — согласно и всегда.
 Как полнотою счастья, утомила
 Земля обильем трав, не разминуться с ней —
 Как смерть, вольна,
 Как жизнь, неуголима,
 Она — приют для судеб и корней.

Травинки малой не обеспокою
 И хрупкой веточке не причиню вреда.
 Я стану небом, небо станет мною,
 Меня в себе развеяв насвегда.

УДАР БИЧА

Здесь ухищренья слога бесполезны,
 Никчёмна обходительная ложь...
 Мы — у предела, мы — у края бездны!
 Очнись, опомнись — или пропадешь.

Громилы грабят соль и мёд земного,
 Угодья Речи топчут и теснят!
 Источники отравлены. И Слово,
 Страдая, исторгает гниль и яд.

Чернь валит валом — бесноваться, хлопать
 Ужимкам гнусным шоу-крикуна.
 Тон задают всему корысть и похоть,
 И в лучших чувствах жизнь оскорблена.

Предмет глумленья — вечное, святое.
 Зазывна маска — ну, а что за ней?
 Страхусь признаться: дали крен устои,
 Повреждены устои наших дней.

У тех — бесстыдной роскоши бравада,
 У этих — безысходность, нищета.
 Хозяин — вот кто знает, что нам надо,
 А ты молчи, не смей открыть и рта.

Жизнь извратив в святой ее основе,
 Жируют, дни бессмысленно влача,
 И втайне ждут, конечно, славословий,
 Достойны же — проклятья и бича!

Бича! Да с тем и сгинут среди смрада
 Растленных и разнузданных забав —
 Сброд пустоглазый, блеющее стадо,
 Закон людской и Божеский поправ.

ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ВИНОГРАДА

Близок миг, что издревле свят.
День осенний встает высок.
В сердце радость свежа, светла,
Как лозы благородный сок.

Совершается ритуал.
Я взволнован, я сам не свой.
Пляшут женщины и поют,
Руки вскидывая над собой.

Праздник, праздник в любом селе!
Весел луч, просквозивший гроздь.
Кто ты? Ночи тайная дочь,
Я — избранник твой, тайный гость.

Друг, любовь, как вино, разлей,
Хорошо ей в объятых чаш.
Я из чаши веской моей
Пуп земли орошу сейчас!



Сусанна Арутюнян.
ВЕСНА ПО НАСЛЕДСТВУ
ОБЛЕГЧИ БОЛЬ, ГОСПОДИ

Рассказы

Перевод Н.Абрамян

ВЕСНА ПО НАСЛЕДСТВУ

Клочок за клочком таяла зима. Я такого мокрого таяния никогда не видала. Боялась, что размочит-унесет почву и скелет земли останется голым. Местами уже обнажилась душа земли, и ясно видно было, как дерево вонзает свои когтистые корни меж ребер земли. Но если снег в горах решил растаять, то когти уже не спасали. Вода ударит с размаху, размозжит спину дереву, пробежит-протечёт поверх него. Такое мокрое таяние, такая жестокая весна и... дядька мой... Бедняга. От тепла в горах размяк и слезавшийся снег. От вешних вод река поднялась, вода покусывала, срывала-уносила берега. А на берегах и дома были... и дядька мой. Бедняга. Весна с её водами, таянием, со всем, что было хорошего и дурного, с грехами и ошибками — всей тяжестью судьбы задавила моего дядьку, и он... Несчастный человек... не вынес половодья жизни. Инсульт. Правая сторона отнялась, совсем ослабла, особенно — рука. Жалко было правую сторону моего дядьки, хоть бы левая была. Но ослабла-отнялась правая, и, скособочившись влево, он кое-как влачил своё существование. Левая сторона пока ещё заботилась о правой, потому что, подобно сиамским близнецам, правая и левая стороны моего дядьки имели одну голову, один позвоночник, одни сосуды... Сердце тоже было одно. Но так жаль было отнявшуюся правую часть моего дядьки, особенно — руку. Вот это была рука так рука. В советское время что это была за рука!.. Десница секретаря ЦК — как ударит по столу... все со страху цепенели. Всякая поставленная этой рукой подпись даровала кому-нибудь жизнь, каждое движение — миллион. На Севане этой рукой он положил на тарелку Брежневу рыбу, сваренную прямо тут же, в той же севанской воде, этой рукой налил коньяку лидеру и чуть было не

решил Карабахский вопрос — одним движением этой самой руки и без кровопролития. Вот такая это была рука. Уж не говорю о днях молодости, когда он повёз любовницу в горы, и чтобы та не замёрзла, сжёг советские деньги, устроил костёр — как раз правой рукой. Что ещё сделал, не наше дело, однако ж... Чтобы в горах Армении человек разжёл костер и согрелся — можно ли себе это представить? Это сколько же денег надо сжечь этой самой рукой — никакой денежный станок не выдержит. Вот такой всемогущей была умершая правая рука моего дядьки, и мне было жалко. Не хотелось бы, совсем не хотелось... Хоть бы левая была.

Умерла правая половина моего дядьки — правая часть мозга, правый глаз, правое ухо, правое плечо, правая рука... дядька стал левшой, на все в мире смотрел и воспринимал теперь левой половиной. Но больше всего жаль было правую руку... её не было. И он был вынужден, поскольку левой писать не умел, с началом весны отправить цыганской почтой — из уст в уста — открытое письмо: “Слушайте, чего это вы — разве я плохим родичем был? Когда нужно было, преподносил подарки, вам лестные слова говорил, улыбался, принимал вас у себя честь по чести, потчевал как надо... Значит, я дурным был, раз теперь некому мою дверь открыть”.

Письмо дошло, когда клочок за клочком таяла зима. Такого мокрого таяния я ещё не видала. Расстроилась. Сильно расстроилась. Это ужасно, когда смерть не разом поражает человека, когда одна из твоих половин умирает раньше или позже другой и ты, кроме забот о своей жизни, заботишься ещё и о своей половине. А уж таяния, таяния даже человек, живущий двумя половинами, не вынесет, такого мокрого таяния... чего уж говорить о бедном моем дядьке, чья правая половина умерла, особенно — рука.

Когда растаял снег в горах, размозжило спину тополю ... что стоит вешним водам размозжить дереву спину! — прошли, пробежали через него, смыли, унесли с дорог пыль и землю, деревья и ветки, оставшиеся с прошлого года надежды и разочарования, и уже нечего было уносить, я пошла проведать своего дядьку. У бедняги отмерла правая половина, особенно — рука, и ветер хлопал его дверьми. Бедняга лежал, туго запелёнатый в свою боль и заброшенность. Неподвижный. Пропадая под грязным одеялом. Натянув на голову старую шляпу. Как забытая в дровяном сарае вещь. Я рассердилась: “Эй, дядя, — сказала, — ты чего это раньше времени умираешь? Правая твоя сторона умерла, но слава Богу, ты же не из одной половины состоишь, левая есть. Вставай, заставь руки двигаться, заставь ноги ходить... если

ты умрешь, ясно, и тело твое умрет”. Его левая рука мучительно потянула, поставила на пол мертвую ногу, потом он, обливаясь потом, сунул себе за пазуху мёртвую правую, потом убедил свою голову принять вертикальное положение и он, постанывая, сел. Попросил у меня воды... Клочок за клочком таяла зима. Такое мокрое таяние... Да что там вода... я ему и гаты принесла. Выпил, сунул руку под подушку. “Дай руку, — сказал и положил мне что-то на ладонь, — берёт на чёрный день. Берёт для того, кто мне на последнем издыхании воды подаст”. Мне захотелось убрать руку. “Я же не за тем... я тебе и гату принесла”. Он своей единственной рукой закрыл мою ладонь, согнул на кольце мои пальцы. “Твоё”, — сказал.

Я шагала среди размякших снегов, и сердце ныло. Вспоминала, до чего продрогшей и холодной была живая рука дяди, как он силится согнуть мои пальцы... Кольцо будто жалило меня — что оно за столько лет дало своему хозяину, чтоб мне дало?.. Отбросила. Отошла на шаг, подумала, что дядька мой еще при жизни остался без присмотра, кто же за ним за умершим смотреть станет? Подняла кольцо из снега — продам, камень на могилу поставлю. Вытерла платком налипший снег, опять сжала в кулаке. Немного прошла. Вспомнила, как он лежал заброшенный, запеленатый в своё одиночество, и снова пожалела его правую сторону — умершую правую половину мозга, правое плечо и особенно руку... По моей совести пробежал холодок — я вздрогнула. Оно мне надо? Снова швырнула кольцо в снег. Немного прошла. “А ты что-нибудь поберегла для того, кто тебе на последнем издыхании воды подаст, или от жажды хочешь помереть?”

Подняла кольцо. Вытерла платком. Сжала в кулаке. Зашагала. Решила, куда понесу, как продам, за сколько продам... “Дядька помер”. А Бог? Он же всё видит. Теперь подумает — стакан воды своему родственнику продала. Больно мне надо... подпрыгнула что было сил и закинула кольцо далеко-далеко... Зашагала... Такая мокрая весна... такое холодное таяние... Пальцы у меня горели. Лоб щипало от морозного запаха. Туфли промокли насквозь... Посмотрела на дырявые туфли. “Идиотка, — сказала самой себе, — кто это за умершим вслед умирал?”... По просевшему снегу нашла то место, куда упало кольцо. Нагнулась. Покопалась в холодном снегу. Господь сам видел, как дядя, забыв о своей умершей правой стороне, своей озябшей от брошенности левой всю свою боль, таяние и половодье, умершую правую сторону, покинутость — всё своё наследство вместе с кольцом положил в мою ладонь и согнул на нем мои пальцы. “Твоё”, — сказал.

Едва-едва смягчившиеся холода, такое холодное таяние и такая мокрая весна... Мне было холодно. Оно мне надо?

ОБЛЕГЧИ БОЛЬ, ГОСПОДИ

С мая по сентябрь — ровно пять месяцев — одно и то же. Каждый день с утра до вечера — солнце, солнце, солнце... Земля, воздух, жизнь — всё обожжено, будто в пустыне. Камни на горном склоне уже стали рыжим изюмом. А блистающее солнце, побелевшее от избытка света, вызывало во рту пресный вкус просфоры.

Но старого сторожа сельсовета не так уж и вдохновляло это чудо. Ему приелось вечное повторение дней, а непрерывность чего бы то ни было, даже чуда, утомительна. И, сидя у стены, он от нечего делать заглядывался, позевывая, на идущих в магазин и из магазина женщин. Когда солнце уже заходило, а старый сторож мучался вопросом, золотая колыбель солнца — это сердце Бога или душа, председатель сельсовета вышел из здания, позвякивая ключами, прислонился к обшарпанной двери, взглянул на сторожа. “Завтра приходи пораньше, ты мне нужен”, — сказал. Сторож обрадовался: может, из европ новый пакет прибыл с распоряжениями-дозволениями на жизнь, чему воспоследуют прибывшие с этой же целью деньги. Распрямляя спину, он поднялся и, пока председатель запирает дверь, подошёл ближе: “А конкретнее?..” Лысый председатель что-то сказал, на что сторож откликнулся — да ну? Они попрощались, председатель отошёл на значительное расстояние, потом обернулся и снова предупредил: “Не забудь”. — “Как можно?” — Саак снова пообещал проявить добросовестность и заторопился — костюм гладить, который в последний раз надевал полтора года назад, по тому же поводу. Конечно, неохота в такую жару костюм надевать. Но костюм не для жары и не для холода — он подчёркивает важность повода или личности надевшего, и Саак был согласен по данному случаю надеть шерстяной костюм. По дороге он в долг купил в магазине бритвенные принадлежности. Любил по достойным поводам иметь безупречную внешность — безупречная внешность — самый лучший щит, за которым можно спрятать недочеты в душе и в судьбе. Придя домой, сразу же побрился. Вместо одеколона побрызгал в лицо холодной водой —

продезинфицировал, почмокал губами, чтобы утишить жжение, сказал сам себе “Хорош!” и перешёл к одежде. Достал костюм из шкафа, набросил пиджак на плечи, брюки — себе на руку и пошёл к соседке. Соседка, будучи женщиной одинокой, прекрасно понимала нужды одинокого мужчины и в случае необходимости безропотно гладила ему костюм. Гладила по несколько раз, через мокрую марлю, чтоб ни одной линии или складочки не осталось на костюме, чтобы сторож ни в чем не уступал — а то и превосходил — мужчинам, имеющим жен. Потом они пили кофе, обсуждая события, случившиеся между двумя глажками, обменивались мнениями, жаловались на болезни, в связи с чем вспоминали знакомых врачей и лекарственные растения, пытались постичь секреты долголетия своих предков. “Любовь и спокойная жизнь”, — настаивала Мариам. “Любовь и спокойствие несовместимы, — возражал сосед, — работа и водка”. Под конец, когда уже начинало темнеть, а Мариам спрашивала гостя: “Ты не проголодался?” и, не ожидая ответа, начинала хлопотать вокруг стола, Саак подымался на ноги. Спасибо — благодарил он за всё, и за несъеденный обед тоже, и прощался.

В тот день соседка видела во сне свою мать. Мать упрекнула её, дескать, зачем позволила сыну уехать из села. Во сне она плакала и оправдывалась. Мать исчезла не попросившись. И, оправдываясь, Мариам почувствовала, с какой силой кровь изнутри давит на виски, уши, услышала стук собственного сердца, поняла, что у неё высокое давление — примерно 120 на 160. Кое-как оделась и будто оцепенела на месте. Так и осталась с утра в постели, устремив взгляд на таблетку от давления, аккуратно лежащую в салфетке на подоконнике. Но лекарство не выпила, решила перетерпеть, оставить таблетку на потом — а вдруг давление ещё поднимется?

Увидев соседа, она скользнула взглядом по его выбритому лицу, по плечам и пиджаку, потом — по переброшенным через руку брюкам.

— В гости собрался? — Заставила себя встать и попыталась про себя вспомнить, не женится ли кто в деревне из молодых или, может, кто из армии вернулся, из тюрьмы вышел. В конце концов вроде припомнила, что в их околотке один человек как будто в эти дни родился и не исключено, что своё пятидесятилетие отмечает. — Что, пятидесятилетие Вачика?

— А ему уже пятьдесят? — удивился Саак. — Как летит время... Как будто вчера было — мальчишки в околотке его били, дразнили за то, что по ночам под себя мочился, я ходил выру-

чать его. Эх, жизнь... Так ему, стало быть, уже пятьдесят?.. Не знаю, мне он ничего не говорил. Пиджак для другого дела.

— Значит, в соседнюю деревню идёшь, жену выбирать... Сам рассказывал, есть одна вдова. Мне сегодня нехорошо, если отложишь — пойду с тобой. Всегда бери с собой кого-нибудь, один не ходи... мужчины — существа близорукие, а тебе больше нельзя ошибаться, возраст не позволяет ошибаться.

Сторож на минуту почувствовал себя женихом — с маленькой красной розочкой в петлице, которого в соседней комнате ждала хотя и постарше пятидесяти, но всё ещё способная краснеть невеста.

— Если бы... — счастливо улыбнулся, смущённо посмотрел себе под ноги, — на работе я, людей должен встречать... из России, — ответил.

Соседка уже взяла с подоконника утюг и, пока он грелся, пошла, держась за стулья и стены, за мисочкой с водой, чтобы намочить марлечку.

— Зачем они едут?.. в гости? — вернувшись, поискала глазами место для миски на столе.

Саак послунил палец, поднес к утюгу.

— Горячий уже, — сказал, услышав шипение, — люди какие-то, всё едут и едут, почём я знаю... вроде бы по тому же делу.

От резкого головокружения земля дрогнула под ногами Мариам, биение пульса в ушах усилилось. Она поставила миску, уцепившись за стол, с трудом опустилась на стул, мысленно пожалела: почему поскупилась, не приняла единственную таблетку. Показывая пальцем, дала понять, что хочет таблетку с подоконника. Сторож тут же подал её, испуганно глядя в лицо соседки, поднес приготовленную для марлечки воду. Мариам без воды проглотила таблетку — сейчас пройдет.

Саак схватил со стола утюг, как умел несколько раз поводит туда-сюда по стрелке брюк.

— Главное — не теряйся: они долго не пробудут — часок-другой, да пусть даже день или два, ты должна вытерпеть.

Саак наспех догладил брюки.

— Тебе лучше прилечь, — глядя в лицо Мариам, посоветовал он и, вновь набросив пиджак на плечи, а брюки — через руку, вышел.

Вечером пришел и председатель сельсовета. Сказал: “Должно быть, вы уже в курсе”, — и с уважением посмотрел в сторону дома Саака. Достал из папки бумаги, высыпал на стол, с мрачным видом громко прочёл, дал подписать.

После бессонных ночей утро было невыносимым. Насчёт вчерашнего Мариам пожалела: не надо было пить единственную таблетку — сегодня давление было ещё выше. Но надо было идти. Всю ночь она проработала об этом, молилась и просила об этом и, выходя из дому, надеялась, что не приедут. Мало ли что может случиться... что ни день — террористы, что ни день самолёты падают, наводнения и ураганы; говорят, в России тоже жизнь ни на что не похожа, того и гляди какой-нибудь случай или случайность помешают — и не приедут.

Идя по центральной улице деревни, между магазином и почтой заметила группу мужчин — с лопатами и кирками, вооружённых небольшим чехом-чемоданчиком.

— Добрый день, — заложив руки в карманы плохо выглаженных брюк, как посторонний поздоровался сосед. Мариам остановилась и оглядела Саака и мужчин рядом с ним — трое были русские с жёлтыми головами, а остальные, местные, все при галстуках, в наглаженных брюках, с серьёзными лицами — видно было, что государственные мужи.

— Давно уже из дому не выходишь, как ты? — Он говорил громче, чем нужно, почти кричал и на каждом слове смотрел на русских, как будто хотел сфокусировать их внимание на женщине. — Русские, конечно, нация хорошая, — старый Саак самоуверенно смотрел на гостей, потом обратился к одному из мужчин: — Переведи... я говорю: русские, конечно, нация хорошая, но три года назад ваши убили чудесного сына этой чудесной женщины. — Он на миг остановился, чтобы его слова дошли до адресата и чтобы русским стало стыдно за то, что они сделали, затем утешил: — У каждой нации свои подонки, — и пока переводчик переводил, опять обратился к Мариам: — Ты камень на могилу сына поставила?... Ещё нет?... Советую взять отборный базальт Лалвара... Ты переводчишь? — снова обратился он к переводчику. — Переводи всё как следует... А если бы это от меня зависело, я бы в России малахитовый камень заказал — пять на пятнадцать, а портрет золотым тиснением бы сделал. Ал-маз-ным... — По ходу дела он становился всё щедрее, хлопал от волнения ресницами. — А если ещё конкретнее, — говорил он под стрекот переводчика и смотрел в лицо русским, — для подобного парня и метеорита со двора Гегардской церкви не жалко.

Тут переводчик не выдержал:

— Да кто тебе разрешит со двора церкви что-либо вынести, да ещё — метеорит?

— Для такого парня никто ничего жалеть не должен... Ты давай переводи...

Солнце уже вышло, но пуповины не обрывало — одной губой еще прижималось к земле. Горизонт был ало-красным — будто кто-то кровь отворил небесам. Земля была тепла, за ночь воздух остыл, земля же — нет. Мариам зашагала к кладбищу. Группа мужчин, беседуя, шла за ней. Русские хвалили воздух Армении, воду, солнце, горы, армян. Старый сторож от имени нации восклицал: “То-то же!” Мариам слушала и представляла, как в очередной раз в стерильных резиновых перчатках будут вскрывать могилу сына, отрывать щипцами кусочки ткани, положат в герметически закрываемый сосуд ... и в руках у человека смерть задохнется.

В 2002 году, когда погода была ещё хуже, чем предсказывали синоптики, когда весна запоздала, когда утки с журавлями вернулись, опустились на толстый лед, покрывший Севан, вместе с цивилизацией — голыми женщинами, гомосексуалистами, сатанистами, войнами, инфекциями, наводнениями, трафикингом, вместе с волнами гуманитарной помощи из-за границы в Армению прибыл труп Хендо, в закрытом цинковом гробу и в сопровождении двоих толстошеих русских. У одного из сопровождающих в кармане конверт, в нём — пачка купюр и письмо: “Мам джан, посылаю свой труп. Устрой всё как следует, плачь, рви волосы на голове, накрой роскошный поминальный стол. Пусть люди едят, пьют и требуют царства Божьего для моей души”.

После похорон четыре раза из России люди приезжали, всякий раз вскрывали могилу, клетки и частички брали для анализа, так ничего и не поняли. Говорили: Хендо кого-то на миллион “кинул”, бежал, в их дедовской могиле, в ногах у бабки, пережившей пятнадцатый год и после всего этого прожившей девяносто лет, в той части могилы, что полагалась Хендо, лежит какой-то русский алкаш, которого по его указанию сперва напоили, потом убили, чтоб убедить других, что Хендо нет, умер.

Часовня Смуглого Младенца стояла на территории кладбища. Разве не кощунство на одной пяди земли смерть и Господа Бога совмещать, но на земле они — авторитеты непререкаемые, недоступные для любой критики, и от ворот кладбища, когда показалась пёстренькая кладка Смуглого Младенца, Мариам начала причитать. “Господи, — ударила по коленям, — да рухнут твои небеса, как на меня обрушились, Господи! — Прокляла: — Что же ты делаешь?.. С жизнью уже разделались, растерзали, скушали... теперь пришли смерть осквернять”. Пройдя через ворота,

внезапно резко нагнулась, схватила с земли камни и траву и бросила в приездах. Мужчины испуганно отпрянули. Она продолжала бросать что попадет под руку, и поносила, и вопила. Русский в погонах, подняв руку к лицу, попятился, устоял на переводчика, чтоб тот перевёл вопли женщины напополам со слезами. А переводчик молчал, лицо его от стыда и неловкости пошло красно-синими пятнами. В конце концов мужчина с погонями понял, что поношения не нуждаются в переводе: у них повсюду один и тот же смысл.

— Стыдно, Мариам, — предостерегающе закричал Саак, — что о нас подумают эти чужаки?!

Мариам остановилась, потом повернулась к могиле, упала на землю и поползла, расprostёрлась на могиле сына. “Сынок, — позвала и заплакала... и не знала, её ли это сын там лежит или чужой, — сынок, — стонала она и не знала, хорошо это, что прибыли русские или плохо. В конце концов выяснилось бы, жив её сын? Но если жив... — Дитя мое, — каталась по могиле и представляла себе, как он жил на чужбине под чужим именем, как милицейские хватают его и, светя в лицо, грозятся: — Скажи, кто ты? Армянин? Да что там “армянин” — зверь ты или человек?.. скажи, кто ты, сейчас же, сотрудничай же с нами”, — и острым носком сапога столько бьют по почкам, что месяцами кровью мочится, — ... безжалостное дитя, что ж ты меня бросил на муки, — звала мешая песню и плач... и не понимала, в чем вина несчастного выпивохи, ведь и его мать родила, и сердце рвалось на клочки из-за бездомного бомжа. — Господи, приди, больше не могу, спаси меня... у меня соски горят... вскормленный моим молоком не мог стать убийцей... помоги, сердце разорвется, — стонала, ползая вокруг могилы как змея и подымая пыль... жив или нет ее сын — все равно, его биография прервана смертью, и нет возврата, — единственный мой, — звала, ползая вокруг могилы, — чтоб мои страдания окупить, тебе бы ученым стать, безжалостный, — плачем и стоном наводила дрожь на холодных, как Сибирь, русских, — тебе бы художником стать и для церковей образ богородицы писать, тебе бы певцом быть — собрав аплодисменты, домой приходить, свою мать радовать... что ты наделал... почему так умер... — гладила выросшие на могиле цветы. — Будь ты убийцей, на твоей могиле цветы бы не выросли, нет... — в тоске и отчаянии посыпала голову землей, — сорняками и колючками поросла бы... куда ты ушел... ты мне должен был из страны в страну песни посылать и цветы, а ты мне горе прислал, труп и гроб... Как мне узнать, кто ты, где ты... внутри у

меня все спеклось от горя, встань, сынок, подыми голову, чтоб я поняла, жив ты или умер, армянин ты или русский... Умираю, облегчи боль, Господи, — ударяя себя в грудь, выла, как собака на луну, — ты плохой лекарь, Господи, твои лечебные молитвы да заветы из века в век так ничего и не исправили, Господи... чтоб ты сына потерял, Господи, — и опять проклинала: — Пошли нам очередной потоп, чтоб скрыть очередное своё поражение”.

Сторож сельсовета толкал переводчика под рёбра: “Переводи, переводи, ни слова не пропускай...”

Переводчик, глотая волнение, бубнил свой перевод причитаний на ухо мужчинам с жёлтыми волосами.

Наконец привычный к холодным сибирям военный не вынес солнца и плача — поглядел-поглядел и, не решаясь дать команду вскрывать могилу, пристроил папку у себя на колене. “Факты соответствуют действительности, в могиле — он”, — записал там.



Гурген Баренц

ГОРЫ АРМЕНИИ

Стихи

ПРИШЕЛЬЦЫ

Прискакали налегке —
Только луки да стрелы в колчанах.
Увидели цветущую страну —
Она показалась им раем.
Дело было за малым —
Прибрать к рукам этот рай.
Они не умели сеять,
Не умели сажать деревья,
Зато в грабеже и насилии
Им не было равных в мире.
Они не умели строить,
Не знали искусств и ремесел,
Зато с ножом и клинком
Обращались по-свойски,
И в искусстве убийства могли бы
Любого заткнуть за пояс.
А домов и дворцов здесь хватало:
Этот рай был страной мастеров.
Дело было за малым —
Нужно было убить хозяев
И занять их жилища.
Они не взяли умом —
Отыгрались жестокостью.
Они не имели культуры —
Присосались к чужой.
И чтобы снять все вопросы,
Достали из ножен клинки
И оросили землю
Кровью ее хозяев.

Дело было за малым:
 Чтобы мир равнодушно молчал.
 Затем они долго и тщательно
 Мыли руки, и душу, и совесть,
 Отмывали себя от крови,
 И промокшую насквозь репутацию
 Повесили на бельевую веревку —
 Для просушки.

ИСТОРИЯ АРМЕНИИ

“У Армении было три моря”, —
 Рассказывают манускрипты,
 Клинописи и скрижали.
 “Но куда же они подевались?
 Не могли же они вот так вот
 Испариться, исчезнуть куда-то”, —
 Это глас, вопиющий в пустыне.
 “Хороший вопрос”, — отвечают соседи
 Со злорадной и хитрой ухмылкой,
 И на их головах
 Большими кострами
 Польшают папахи и фески.

КАМНИ АРМЕНИИ

В маленьких речках Армении,
 Каменистых и мелководных,
 Ты не встретишь русалок.
 Их здесь нет. Им здесь нечего делать.
 В нашем единственном озере —
 В нашем Севане —
 Нет больших или малых чудовищ:
 Им здесь просто не развернуться.
 В наших горах
 Нет драконов и нет великанов.
 Даже снежному человеку
 Здесь негде укрыться от ветра.
 Но зато наши камни,
 Наши горы и наши речушки

Обладают железною хваткой.
 Они меня держат так крепко,
 Они меня держат так крепко! —
 Почтище любого магнита...

ГАРЕГИНУ НЖДЕ

Великий дух, мятущийся в неволе,
 Ты — путеводная звезда для всех армян:
 Ведь наша боль была твоею болью,
 Ведь ты изнемогал от наших ран.

Тебя кромсали нелюди Системы.
 Ты выдержал. В Системе вышел сбой.
 Ты приводил мучителей в смятение:
 Гора и твердь — старик полуслепой.

Патриций духа и пигмеи духа...
 Столкнулись лбами гений и толпа.
 Но вышла незадача и проруха:
 Система — у позорного столба.

Ты был доверчив. Ты не ждал подвоха.
 Ты — крысолов, попавший к крысам в плен.
 Историю вершили скоморохи,
 Был заперт в колбу ветер перемен.

И ты узнал сполна, во всем объеме,
 Как мстителен плебейский дух, когда
 В героя можно разрядить обойму
 С ухмылкой злобной. Молча. Без суда.

Мы обнищали духом, измельчали,
 Мы миримся с бесправьем, как с судьбой.
 И как укор — знакомый взгляд печальный:
 Твоею остается наша боль.

Мы жизнь твою должны учить, как песню,
 Она настольной книгой стать должна.
 Ты с нами ежечасно, повсеместно,
 Как наш язык, как наши письма.

Моя страна — летящий самолет,
А на пути — то ямы, то провалы.
Я беспокоюсь за ее полет.
Уж лучше бы включить автопилот:
Неправильные люди у штурвала.



Тельман Маилян
ОСЕННЯЯ НИВА
НАШ ДОМ

Рассказы

Перевод Н.Мкртчян

ОСЕННЯЯ НИВА

Подступавшая осень на все окрест нанизала серебристые бусинки, а лес озарила багровым пламенем. Фасоль на грядках поблескивала росой лишь до полудня, пока испарялись и улетучивались освещенные первыми солнечными лучами росинки.

С раннего утра и до позднего вечера Цохик пропадала в саду.

— А ну как подморозит, надо поторапливаться. Минувшая-то осень не особо спешила, а тут...

Нынче осень и вправду выдалась не по сезону холодноватой.

В платье с повлажневшим от росы подолом Цохик переходила от грядки к грядке, вслух разговаривая сама с собой. Опавшие на волосы желтые листья напоминали головной убор невесты. Пестрый передник, куда она собирала фасоль, мало-помалу разбухал, а пышную грудь распирало охватывавшим ее временами неумным трепетом. Кровь в жилах играла, как в ранней молодости. Глядя на Цохик, мало кому пришло бы в голову, что она успела обзавестись четырьмя детьми. Да и сама Цохик удивлялась этому ничуть не меньше окружающих и то и дело задавалась вопросом: “И когда только я успела?..”

Из гущи кукурузника, примыкавшего к фасолевым грядкам, донесся шорох. Кто-то напрямик направлялся к ней. В душу закрался привычный страх. Она провела рукой по волосам — сухие листья, крошась и ломаясь, посыпались на землю. Сердце затрепыхалось, словно подстреленная птица.

— Кто это? Неужто... — прошептала она, но тут же узнала совсем уж близкие шаги.

— Шазн, ты, средь бела дня?

— Не бойся, Цохик, никто в этой чащобе нас не заметит, — обронил он, хватая ее за руку.

— Уймись, Шазн!.. Не забывай, что моему Араму уже десять стукнуло.

— Подумать только, десять лет... Не убивайся так, не губи свою молодость. Знаю, за Ншана ты по любви вышла, но нельзя же десять лет напролет лить слезы. Девушкой ты была на зависть хороша, от женихов отбоя не было... Скажешь, не так?

По лицу Цохик горошинками катились слезы. Шаэну стало не по себе: в который раз он ненароком разбередил не заживающую в ее душе рану.

Они еще долго стояли, не обмолвившись ни словом.

Лишь по-осеннему тихое журчание протекавшей рядом речушки нарушало царившее вокруг молчание.

Сельчане не зря уважали Ншана, по всей округе слыл он великим умельцем. Любая работа была ему по плечу: и землелепеш первостатейный, и столяр хоть куда. Словом, как говорится, мастер на все руки. Вот почему еще Цохик предпочла Ншана всем своим воздыхателям.

— Слыхали новость?.. Маргаренц Цохик заарканила Магнанца Ншана...

— Слыхали, как не слышать.

Шедшие по воду женщины наверняка приумножились бы числом, не попадись им по пути бабка Сапет.

— Ты чего язык распустила? — осадила она самую рьяную кумушку. — Цохик девушка порядочная, скромная, и парень работага из работаг. Может, хватит косточки-то перемывать?

— Да я ничего худого не сказала... Сватался же к ней Сарибеканц Арутюн, что тканями торгует. Чем не жених? И ростом вышел, и денег куры не клюют. А что до Ншана — душа за него болит: день-деньской — тук да тук — надрывается бедняга. Что и говорить, руки у него и впрямь золотые, да только труд-то какой тяжелей...

— Видали, душа у нее болит? Стало быть, работаге и девушку не выбрать, и семью не завести?.. Завистница ты, вот кто, постыдилась бы да язык свой попридержала.

То ли слова бабки Сапет возымели действие, то ли от долгого стояния кумушки подустали, только вскоре все разошлись.

— Человек я мастеровой, Цохик, работы не чураюсь, так что голод нам не грозит. Лишь бы душа не голодала... Если не любишь, лучше не переступай моего порога. Семья без любви — что

дом без крыши: то дождем зальет, то снегом заметет, — шептал Ншан, держа Цохик за руку.

— Я пришла сюда с любовью, — ответила Цохик сквозь подвечную фату и твердым шагом переступила порог Ншанова дома.

И жили бы они счастливо и безмятежно, как у них и сложилось поначалу, не случись однажды непредвиденного и непоправимого: крепкого, точно кряжистый дуб, Ншана сразило в лесу молнией, сразило наповал. К счастью, от корней этого дуба уже тянулось четыре молодых побега. Младшему, Араму, уже десять исполнилось. Такая выпала судьба: с рождением сына угасла жизнь отца, радость перемешалась с горем. Скорбела убитая горем родня, скорбели сельчане, но в конце концов смирились: куда деваться, законы природы неподвластны людским законам. Не смирилась с волею судьбы только Цохик. Ей все еще хотелось наслаждаться даром той же самой судьбы, именуемым любовью. Вопреки обычаю, она не облачалась в траурные одежды. Но душа ее с годами точно усыхала, как утренняя роса под первыми лучами солнца.

Сердце Цохик пожирал нерастраченный огонь любви.

С ветвей гранатового дерева, словно огненно-красные серьги, свисали плоды. Грудь Цохик тоже напоминала два граната. Огрубелые руки Шаэна скользнули по ним и стиснули в объятиях чудесную, как цветущее гранатовое дерево, женщину.

— Не дай Бог, увидят...

— До чего ж ты хороша, Цохик...

Потянуло осенней свежестью. Тихо затрепетали листья граната. Их нежный шелест смешался с несмолкающим шорохом подсыхших фасолевых стручков и кукурузы. Красными зернами граната брызнула осенняя роса.

Внезапно из чащобы донесся металлический звон: видно, кто-то дернул нитку с болтающимися на ней пустыми, консервными банками — птиц отпугивать. Это был Маки, свекор Цохик.

Шаэн и сам не взял в толк, как, сорвавшись с места, одним махом очутился по ту сторону речушки. В спешке угодив ногой в лужицу, весь в грязных брызгах, он успел-таки затеряться в кукурузнике, сопровождаемый долгим нежным взглядом Цохик.

Солнце все еще резвилось, бросая лучи на поспевшие помидоры и перец. Вместе со своими товарками Цохик снимала урожай, укладывала в красовавшиеся под солнцем алые кучки. Огненные

языки перцев обжигали ее натруженные, в трещинах, ладони. Лицо горело. Она то и дело поглядывала в сторону села, которое соединяла с огородами вкривь и вкось изгибающаяся дорога.

“Эх, Шаэн, Шаэн, до чего ж ты необузданный. Снова верхом объезжаешь поля, дескать, даром, что ли, в бригадирах хожу, надо бы и на огороды наведаться... Сюда-то чего ради скачешь во весь дух, неужто по делам? Или, может, на меня охота поглядеть? Будто не знаешь — злые языки почище вот этого перца кусаются? И себя не жалеешь, и жену свою раскрасавицу Сиран, и мальчишек своих... Глянь, как вымахали, — братьями твоими смотрятся.

Можешь заткнуть рот сторожу Халату? Не можешь. Легко ль терпеть такое? На каждом шагу только и знает, что перемывает нам косточки: “В Цохикин сад кто-то повадился. Неровен час, на сторожа поклеп возведете... А молодуха — огонь, ничего не скажешь. Глаза так и блестят, будто маслом смазаны”. Это ты во всем виноват, Шаэн, ты”.

Мог ли острый глаз бригадира не заметить обвораживающего огненного блеска во взгляде Цохик?..

Чернее тучи Шаэн явился вечером домой из сельсовета, где только что закончилось собрание. На повестке дня стоял вопрос о работе его бригады. Дела у нее шли хорошо, и обсуждение проходило гладко до тех пор, пока не раздался адресованный бригадиру вопрос: мол, не запаздывает ли посевная кукурузы?

То ли задающий вопрос был не в духе, то ли сама природа наделила его грубым голосом, только Шаэн счел это вызовом и ответил в тон:

— Очухайся, семенное зерно давно заготовлено. А посевная, к твоему сведению, начнется через неделю.

— Это тебе пора бы очухаться, бригадир, и разобраться со своими женщинами, вдовыми и замужними.

Словно обухом дали по голове. В глазах помутилось. Он готов был тут же дать волю рукам, как говорится, невзирая на лица, но вовремя сдержался. “Нас, похоже, застучали...” — мелькнуло в голове.

Всю ночь он не сомкнул глаз, ворочался с боку на бок, так и промаялся до первых петухов.

Поднимаясь с постели, Шаэн ощутил ноющую боль в груди, словно ее пронзало стрелой. Стрелу эту никак не извлечь — скорее кровью изойдешь. Пускай уж лучше ноет...

Лошадь бригадира стремительно промчалась мимо Халата. На поросшем травой зеленом склоне сторож подправлял съехавшую набок подпругу. Но мыслями был далеко. Сын его вон еще когда демобилизовался из армии, а домой не спешил. Побуду, дескать, пока в городе, поработаю годик, приоденусь, не в солдатской же форме в селе щеголять.

“Сукин ты сын, да чихать мне на твою одежду. Я, к примеру, сроду города не видал, в армии тоже не служил. И что? Может, я и дом не поставил, и добра не нажил? На ноги подняться Карапет покойный мне помог, царство ему небесное, выкормил, вырастил, мало того, девушку пригожую сосватал. И теперь у меня все чин чином, слава тебе, Господи. Работаю. Поля сторожу. Скажи-ка на милость, где ты еще найдешь такие поля, деревья, камни да родники? Загляденье, да и только, любо-дорого смотреть. А воздух... чистый, прозрачный. Может, и в хваленном твоём городе такой же?..”

Халат с восхищением оглядел окрестности, вновь и вновь наслаждаясь живописным их великолепием, и заметил скачущего навстречу всадника. Лошадь Халата напряглась, наострила уши, предупреждая хозяина о появлении на поле чужака.

— Да угомонись ты, это же бригадир.

Лошадь Шаэна пронеслась по кромке ручья, и в сторожа полетели из-под копыт комья грязи вперемешку с клочьями травы. “Поделом тебе, Халат, завидующие твои глаза. Из родника Цохик никто не смеет пить, кроме меня...”

Сторож в сердцах разразился бранью:

— Сукин ты сын, бригадир, повезло тебе! Будь у меня такая же уздечка, как твоя...

Халат подтянул к себе длинную веревку, охватывавшую лошадиную шею, а сам, скрючившись, затаился в траве, будто его здесь и в помине не было...

Тревожно было на сердце у Цохик. Ей никак не удавалось обуздать свои чувства к бригадиру. Любовь зародилась недавно, с приходом весны.

В тот день они высаживали помидорную рассаду на только что возделанной пашне. Подойдя к ней при всех, Шаэн протянул ей мерку:

— На, Цохик, замерь, сколько за день высадили рассады.

Ее и без того покрасневшее под жарким солнцем лицо зарделось еще сильнее. Мерка и та обжигала ей пальцы. Только когда Шаэн ушел, до нее дошли брошенные им напоследок слова:

— Задержишься, разговор есть...

Что бригадир проявляет к ней повышенный интерес, Цохик давно догадывалась. Теперь же его чувства перехлестывали через край, как река Джогаз, вздувшаяся нынешней весной от паводка. “Что делать?” Цохик осознавала, что их с Шаэном взаимная тяга недолго останется тайной, начнутся пересуды, слухи поползут по всему селу. “Сожрут ведь и не подавятся...”

Солнце склонялось к закату, когда женщины, закончив работу, умылись в речушке и направились домой.

С треугольной меркой в перепачканных землях руках Цохик обходила грядку за грядкой. “Раз, два, три... десять, — считала она, но думала о своем: — Что делать, отвадить или?..”

Шаэн привязал лошадь чуть поодаль, у развесистой ивы, и подошел к Цохик, когда она поравнялась с невысокой скирдой.

— Ну и сколько же ты насчитала? Спасибо, что дождалась. Только не обвиняй меня ни в чем.

— Я сотню намерила, столько же еще...

Цохик хотела сказать, что, пожалуй, выйдет еще столько же, но Шаэн не дал ей договорить и потянул за руку к скирде.

— Это я виновата, бригадир, но пожалей себя...

— Ты чудо, Цохик.

По ее телу пробежала дрожь. Она так и не поняла, почему поддалась его воле.

Привязав лошадь, бригадир подобрал оставленную поливальщиком лопату и воткнул ее в обильно политую грядку: вода подступала к его ногам, а он не замечал.

Цохик не в силах была совладать со своими чувствами, она впитывала их, как земля эту воду. Кровь играла в жилах и журчала, как текущая рядом речушка. Верно говорят, что сердце не камень, особенно сердце, истосковавшееся по любви и ласке.

И она вспомнила ту встречу и его первое объяснение.

...Взмывенная, местами в белой пене лошадь выросла перед ней и внезапно стала как вкопанная. С недавних пор бригадир Шаэн зачистил на огороды, хотя дел у него было невпроворот. Он всегда твердил, дескать, мы обязаны обеспечивать весь район овощами, а обязательство требует усиленного внимания. Вот и сейчас явился, вроде как ничего, кроме огородов, его не волнует.

— Здравствуй, Цохик. Никак ты одна? — задал он глупый вопрос, прекрасно видя, что Цохик одна-одинешенька возится себе у грядки.

— Одна, бригадир. А ты чего здесь?

В ее подоле краснели перцы, она собиралась отнести их домой.

— Тебя повидать. Запала ты мне в душу, сил больше нету терпеть. Хочешь верь, хочешь не верь.

Цохик вспыхнула, точно объятая пламенем. Или ей это показалось?..

— А я терплю. Бог терпел и нам велел.

Цохик осела в совсем еще свежую, благоухающую скирду — так оседает зыбкая, неутрамбованная земля. Неведомая, неизбывная страсть толкнула ее в объятия Шаэна.

На участке, где высилась одинокая груша, появился чужак. Лошадь Халата наострила уши, фыркнула, раздувая ноздри, и принялась пыльным своим хвостом отбиваться от назойливых мух.

— Тьфу... Бесстыжая тварь, — буркнул Халат.

...Небольшая вязанка травы на плече у Цохик шуршала в такт топлювому шагу. “Бог не дал мне такого счастья, как твоей Арпеник, жить, точно за каменной стеной, с недотепой вроде тебя. Чего тут обижаться, с судьбой не поспоришь. Да и ты должен бы меня понять, и ты был в моих годах. И потом, сам знаешь, лежачего не бьют”, — проходя мимо полевого сторожа, прошептала Цохик.

“Ступай, ступай восвосяси. Многовато ты нынче заработала: травы целую вязанку да еще кой-чего...”

...Цохик вошла в дом, повалилась на тахту и, уже не сдерживаясь, в голос разрыдалась. Некому было спросить, отчего она так горько плачет. Знала об этом только она и...

Утром она проснулась с припухшими веками, похожими на комья влажной земли, а красные глаза смахивали на созревшие помидоры и перец.

НАШ ДОМ

Ветхий наш дом с покореженной кровлей и обшарпанными стенами когда-то стоял на краю села.

“Построил я его в коллективизацию, в тридцать втором, и потратил всего ничего — несколько пудов пшеницы”.

Всякий раз, когда отец затевал этот разговор, глаза у него почему-то увлажнялись. И на мои попытки вызвать его на откровенность он обычно отмалчивался, точнее, отмахивался: пускай, мол, мои воспоминания остаются при мне...

Теперь наш дом вовсе не на окраине, за ним тянется новый квартал, застроенный двухэтажными домами.

— Как думаешь, сынок, не пора ли нам новым жильем обзавестись? — как-то раз сказал отец.

— Ловлю тебя на слове, — обрадованно поддержал я задумку отца. — Наше-то совсем обветшало. Вон сколько вокруг хоро́м понастроили.

— А с камнем как, подсобишь? — отец уперся в меня вопрошающим взглядом.

— Само собой, — воодушевленно ответил я.

К тому времени я уже окончил школу, повзрослел и стал довольно крепким парнем, так что выносливости мне было не занимать. Да и до каменоломни было рукой подать: в двух-трех километрах по ту сторону реки. Будь она даже далеко, ради нового дома я был готов на любые трудности.

И вот настал долгожданный день. Вооружившись металлическими кольями и тяжеленными кувалдами, мы с отцом пустились в путь. Меня немало удивило, что, добравшись до места, отец даже не присел передохнуть.

За время, пока я сюда не наведывался, каменоломня еще глубже разверзла пасть, еще шире раздвинула красную улыбку и в упор разглядывала прохожих. Удобных участков было много.

— Давай прямо здесь и начнем, — предложил я.

— Нет, отойдем в сторонку, — не согласился отец.

— Этот участок годится?

— Пошли дальше, — снова возразил он.

— Ну-ка взгляни...

Отец молчал и с беспокойством озирался по сторонам.

— Вон удобный разрез. Может, начнем?

— Нет, сынок, не спеши...

— Смотри, камень что надо, — сказал я.

— Оставь, это участок Ирицанцев.

Я прошел дальше.

— А этот Макнанцев, упокой Господи души их.

Мое терпение лопнуло, и я ткнул пальцем в противоположную сторону.

— Деданцев... помянем их добрым словом... Этот Ихтанцев, а вон тот Бабаханцев. Эх-эх...

— Да какая разница! И тех, и других, и третьих в селе и след простыл.

— Людей, может, и след простыл, а каменоломня — вот она. Как сейчас помню, видел я Макнанца Артема и Баграта, тут они камень добывали, а там Салан. Их нет, а каменоломня есть. Ударись по камню, звук отзовется далеко-далеко и дойдет до их

ушей. Может, не зря говорят, что земля разносит вести... Пускай земля донесет им о нас что-то хорошее.

Подойдя к довольно узкому разрезу, отец скинул рубаху.

— И ты сними, день жаркий, вспотеешь и быстрее устанешь.

Крепкими жилистыми руками отец взметывал вверх тяжелую кувалду и изо всех сил обрушивал на камень. От камня отскакивали обломки, но трещина не прочерчивалась. Только через несколько часов я разглядел на камне тонюсенькую, как волосок, трещинку.

— Вставляй кол.

Я кое-как приладил кол. Отец нанес по нему несколько ударов, и только тогда железный стержень удобно вклинился в непробиваемую толщу. Отец наконец-то сел перевести дух. Вытащил из кармана кисет и свернул сигарку. Курил и внимательно вглядывался в обозначившуюся после стольких усилий трещину.

— Видал упрямца?.. Камень, он никогда не поддается человеку, надо его пересилить. Между прочим, это и есть наш, Макнанцев, карьер.

— Ни сколов, ни провала, будто камня тут сроду не добывали, — засомневался я.

— А для нашего дома камень я как раз отсюда брал. Правда, давненько это было, лет тридцать назад. Слой здесь хороший. Вскрывать трудновато, зато потом идет как по маслу. У камня, сынок, свои тайны, как у космоса. Или как у задачек, какие вам в школе задают. А законы природы? Вот уж тайна так тайна. Или возьми человека — всем тайнам тайна: сегодня он есть, а завтра — как не бывало.

Отец говорил, а мне и вправду казалось, будто, упрямо обрушивая на камень удар за ударом, он решает трудную задачу, а может, и разгадывает космическую тайну, да не одну...

Пот катился с него ручьем, мышцы лица и рук напряглись, вены вздулись, но он не отчаивался.

А камень уперся и ни в какую не поддавался. Так продолжалось дней пять кряду. Наконец жила раскрылась.

Следом за не очень внушительным слоем камня обнаружили аккуратные, словно бы специально кем-то уложенные каменные плиты, оставалось лишь разрезать их. Это меня воодушевило, я бойко взялся за работу и увидел, что попадаются камни — их было немало, — можно сказать, отесанные, как по заказу. И работа, поначалу казавшаяся мне тягостной и неодолимой, на деле была вполне выполнимой. Я сказал отцу, что, пожалуй, один с ней справлюсь.

— Камень мы перевозили чуть ли не месяц, — вспоминал отец и так живо перебирал в памяти события тридцатилетней давности, что мне наяву виделись и тогдашний наш сосед Овсеп, и отцовские волы Циран и Хндзор, и буйволы Саро и Телу, и багратовские Бухара и Шеко. Я видел, как они с натугой пробирались меж речных валунов и взбирались по горному склону, видел их тугие мышцы и взмокшие бока, на которых мигмом проступали следы от самого легкого прикосновения кнута...

Как-то я сказал отцу:

— Мы, вроде бы, все заготовили, почему же не строим? В чем загвоздка?

Он задумчиво осмотрел наш старый дом — стены, крышу, потом перевел взгляд на меня и после долгого молчания наконец заговорил:

— Ну что ж, пожалуй, можно строиться. Но для начала нужно с местом определиться.

— Место — вот оно, не станем же новое подыскивать. Поставим дом на месте старого, — без колебаний сказал я.

— Стало быть, рушить старый? — спросил отец, и голос у него дрогнул.

— А на что он нам?

— Нет, сынок, так не годится. Давай-ка новый дом поставим рядом со старым, чтобы прошлое всегда было у тебя перед глазами, чтобы сложилась у тебя собственная история. Надо помнить и деда, и отца, и того, кому ты сам отцом приходишься. А как же? Не было бы иначе у нас в Армении — и почему только в Армении? — столько памятников. Они и есть история, наша, нашего народа. Историю ведь не только рассказывают, ее еще и строят. Как же я собственными руками разрушу дом, где витает дух моих родителей?

Я молчал. Невольно разбередив рану в отцовской душе, я чувствовал себя виноватым.

Отцовские слова и сейчас у меня на слуху.

Старое наше жилье и по сей день стоит в целости и сохранности прямо напротив нашего нового двухэтажного, светлого и со всеми удобствами дома.

Моего отца уже нет, однако по соседству стоит построенный его руками дом. И всякий раз, когда я переступаю его порог, мне кажется, что стены беседуют со мной, как когда-то беседовал отец, что здесь витает дух моих родителей.



Вардан Ванатур
Из книги “И БУДЕТ СВЕТ”

Стихи

Перевод А.Татевосян

Радость уже не в силах мой отыскать закат,
Смех мой одним крылом снова в крови, поздно,
В спор со словами вступаю, покуда речи звучат,
Нынче из бездны ко мне спускаются слезы...

Строят башни страдания, в каменной тишине
Камень дикий прижался к тому, что рядом,
От невинных ни весточки не доходит ко мне...
Где же добро, кто делает его ядом?

То закрыты, то вновь открыты двери раздоров,
Вижу я искренности поражение,
Парус повис без сил в синей пустыне моря,
И не взвоятся ветра отправления...

Время с моим страданьем сливается год от года,
Давит бесстрашье безжалостное опять,
Мера исчезла и нам домом стала невзгода,
Прошлое... Дни мои не повернутся вспять.

Если начнет горчить вино в моем кувшине,
Больше не будет праздника, песен, славы,
Если из бездны смех уже не взойдет ко мне —
Тихо меня под собой погребут травы.

День так хрупок, уже не выносит...
Паруса разрослись, плодоносят,
Позабыв позади зеленеющие берега,
Цветок укачивает луга,
А волны синее море.

Цветы вбирают в себя лучи,
 А морские волны — синие сны,
 Ветер мучит себя, сечет,
 Аромат земли с его губ течет,
 И плачет дождь втихомолку...

На крыле у вечера, в черноте
 Жеребцы безнадежно ржут,
 В груди у гор громыхает,
 Кто их теперь седлает?
 День темнеет в глазах...

Призывают волшебные сказки —
 Нам судьбы найти новую сушу,
 Что за лошади пустятся в путь,
 Чтоб у бога принять и вернуть
 Нашу сущность и душу.


Если со мной ты можешь сойти с ума,
 То сейчас сойди,
 Если можешь подняться ввысь,
 То поднимись со мной в мир моей души,
 Если можешь обмануться и не грустить —
 Обманись со мной без всяких сомнений,
 Если можешь быть искренней,
 То пойдём со мной, я буду тебе примером,
 Если ты добра и готова творить добро,
 Я тебя с благодарностью позову,
 Если ты можешь просто жить,
 То я буду твоей простотой, потерпи со мной,
 Если можешь окаменеть от боли,
 Следуй за мной, я боль твою заберу,
 Если можешь мечтать о любви —
 Я любовь твоя, не знающая колебаний...
 Ты Астхик, моя Звездочка, в сонме небесных звезд,
 Я певец твой,
 Лелей меня у себя в руках —
 Я лишь горсть земли...

ПЕСНЯ

Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас,
Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас —
Терзает дни мои темный страх,
Твой шепот меня повергает в прах,
Любимая, сердце мое в ладони возьми сейчас,
Сожми его и дави, дави, дави,
Тогда ты сможешь увидеть моей любви
Чистые, чистые, чистые слезы.

Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас,
Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас —
Ища тебя, сам заплутал, полны
Глаза мои слез вины,
Любимая, сердце мое в ладони возьми сейчас,
Сожми его и дави, дави, дави,
Тогда ты сможешь увидеть моей любви
Чистые, чистые, чистые слезы.

Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас,
Мне ведомо то, чего ты не знаешь сейчас —
Напрасна жизнь моя и пуста,
Тебя с тоскою зовут уста,
Любимая, сердце мое в ладони возьми сейчас,
Сожми его и дави, дави, дави,
Тогда ты сможешь увидеть моей любви
Чистые, чистые, чистые слезы.



Анаит Топчян

ЗЕРКАЛО

— Для этого зеркала места не нашлось, — сказал мой друг и крайне осторожно извлек из-за шкафа какое-то необыкновенное зеркало. Внимание мое, во-первых, привлекла массивная дубовая рама, на которой были мастерски выгравированы переплетенные между собой всевозможные растения, листья и плоды, из-за которых кое-где выглядывали головы птиц. Экзотика очень тонко сочеталась с европейским стилем, напоминая натюрморты голландской школы семнадцатого века.

— Эта вещь, должно быть, старинная, — сказал я. — И дорогая... Откуда она у тебя?

— Понятия не имею... Хозяин квартиры оставил, — безразлично ответил он, затем добавил: — Если нравится, можешь взять...

Мне показалось, что он шутит. Это было произведение искусства, прекрасно сохранившееся с незапамятных времен. Такое так просто не дарят. Тем более что друг мой не очень-то отличался щедростью. Хотя совершенно недавно на деньги, сколоченные в течение всей жизни, и долгосрочный кредит, взятый из банка, купил пятикомнатную квартиру в самом центре Парижа, полностью отремонтировал ее, обставил совершенно новой, современной мебелью, а на стенах повесил... несколько картин знаменитых авангардистов... Словом, понес весьма существенные расходы. Это старинное зеркало можно было выгодно продать и покрыть хотя бы какую-то часть этих расходов. Однако...

— Благодарю... — смущенно пробормотал я. — Но пойми, не могу я принять такой шикарный подарок...

— Это действительно редкая вещь... но мы ведь друзья детства, почти как родные... Неужели я не могу тебе сделать подарок?..

— Вот именно, — подтвердила его жена, слушавшая с порога сверхсовременной кухни наш разговор. — Он тебя любит больше родного брата.

Затем хитро улыбнулась и, подойдя ближе, прошептала мне на ухо, но так, чтобы слышал муж:

— Кажется, и вы собираетесь покупать новую квартиру, так что мебель свою подберете к этому зеркалу, а к нашей мебели оно не идет.

Действительно зеркало в своей шикарной раме совершенно не соответствовало их сверхсовременной, сделанной на заказ мебели. Однако я не спешил принимать подарок, тем более что нас пригласили к столу и по крайней мере часа три я должен был быть их гостем, кстати, единственным — жена моя не смогла прийти.

Мы не заметили, как пробежало время. За столом говорили обо всем, кроме зеркала. Однако когда я приготовился уходить, хозяйка дома указала на тщательно упакованный подарок, поджидавший меня у входной двери.

— Не забудьте, — сказала она. — Оно тяжелое, но у вас ведь машина, думаю, что нетрудно будет доставить домой. Будьте осторожны, разбитое зеркало — плохая примета!

Отказаться было уже невозможно. Я принял подарок и, поместив его со всеми предосторожностями в багажник своей машины, благополучно доставил домой, вызвав у жены неописуемый восторг. Но нас ожидал неприятный сюрприз. Зеркало никак не подходило к нашей мебели. Или казалось слишком большим, или... просто не подходило. Время было позднее. И мы решили отложить это дело на завтра.

Ночь провели беспокойную. Я, никогда не жаловавшийся на бессонницу, лежал и, в буквальном смысле этого выражения, не мог сомкнуть глаз. Нервы были взвинчены. Мне даже казалось, что я слышу шорох бумаги и глухой стук. Я встал, проверил входную дверь, внимательно оглядел комнаты, ванную, кухню и туалет. Ничего подозрительного я не заметил, однако не могу утверждать, что звуки эти мне померещились... Вернулся в постель и обнаружил, что и жена не спит.

— Не можешь уснуть? — спросила она.

Я не ответил, но почувствовал, что и жена неспокойна.

— Наверное, много выпили, — добавила она. — Особенно кофе...

Всю следующую неделю мы были заняты новой квартирой. Упакованное зеркало вместе с другими вещами было перевезено туда. Мы развернули и первым делом решили найти подходящее место для него. Однако у нас ничего не получилось: то ли квартира не сочеталась с зеркалом, то ли зеркало с квартирой... трудно было понять... Наконец решили временно повесить его в комнате жены. И, кое-как разместив остальную мебель, остав-

шие, легли в постель. Первая ночь в новой квартире. Заснули как убитые.

Однако среди ночи я внезапно проснулся. Мне показалось, что я слышу человеческую речь. Жены рядом не было. Решил встать, и в тот же момент раздался крик ужаса. То был голос жены, по всей вероятности, из ее комнаты. Я вскочил и помчался...

Комната была залита каким-то странным, мертвенным светом, напоминающим серебряное отражение луны. Жена, в белой ночнушке, стояла посреди комнаты и, закрыв ладонями лицо, дрожала. Мертвенный свет исходил из зеркала. Как будто кто-то подсвечивал сзади фонарем. Я нажал выключатель, однако свет не включился. По телу пробежала дрожь. Я прекрасно помнил, что пару часов назад вкрутил новую лампочку. Затем комната мгновенно погрузилась в крошечный мрак. Странно, даже из занавешенных окон не проникало никакого света. Я осторожно обнял жену за плечи, вывел из комнаты и заботливо уложил в постель. Я не спешил с вопросами. И хотя она убрала ладони с лица, глаза оставались закрытыми.

Утром, за завтраком, она вела себя как обычно, будто прошлой ночью ничего не произошло. Говорила обо всем: о своей работе, о планах на лето, о том, как обставить новую квартиру, однако ни слова о ночном таинственном происшествии... Видно, забыла, подумал я, а может, то был сон? Перед тем как выйти из дома, я тем не менее нажал на кнопку выключателя в ее комнате. Свет зажегся. Может, на самом деле сон? Но странный, потрясающе близкий к реальности...

Всю следующую неделю мы продолжали заниматься бесконечными делами, связанными с новой квартирой. За эти семь дней ничего особенного не произошло, и о зеркале мы почти забыли. Просто жена пару раз сказала, что место для зеркала не самое удобное и что оно очень тусклое, совершенно без блеска.

— Нужно поменять или обновить амальгаму, — размышляла она, — а для этого вынуть его из рамы...

На следующий день мы тщетно пытались вынуть зеркало из рамы. Странно, не было никаких следов от гвоздей. Казалось, дерево срослось со стеклом.

— Это значит, что зеркало так же старо, как и рама, — сказал я.

Решили, что утром отнесу его к знакомому антиквару, посоветаться... Жене я не сказал, однако намеревался выяснить цену этого старинного предмета, и если она мне покажется интересной, то продать, почему бы и нет...

Вечером я заснул, едва коснувшись головой подушки. Однако далеко за полночь сквозь сон почувствовал, что со мной происходит нечто странное. Будто кто-то поднял меня с постели и как пушинку понес в комнату жены. Здесь опять было мертвенное освещение... Я стоял перед зеркалом, однако не видел собственного отражения. Серебристый свет вдруг перестал струиться, и на потускневшей, местами потрескавшейся амальгаме медленно начало что-то вырисовываться, как на фотобумаге, брошенной в проявитель. Силуэт понемногу становился все отчетливей — вот появились голова, шея, плечи... Затем детали: волосы, брови, нос, губы, ожерелье на шее, платье... Старинное платье, какие носили женщины в конце прошлого столетия, или, как говорят французы, в Belle époque... Это было похоже на старую фотографию, дагерротип, немного потускневший, светло-коричневых тонов, который в натуральную величину во всех подробностях представлял персонаж... который, однако, двигался... В зеркале был живой человек, молодая женщина лет двадцати-двадцати двух... Губы ее дрожали, ноздри чуть подергивались... и вдруг из-под опущенных век две крупные слезы медленно скатились по щеке и упали на грудь... Потом еще две... Мне казалось, притронулся я к зеркалу, пальцы мои намокнут, и уже протянул было руку, как женщина в зеркале заговорила глухим, умоляющим голосом:

- Не отдавай зеркало... Не уноси из дома!
- Кому? Кому не отдавать? — оглушенный, спросил я.
- Мастеру... Ничего не меняй, ничего не трогай... Особенно зеркало...

Она не успела договорить, изображение неожиданно исчезло, унеся с собой мертвенный свет.

Утром жена несколько раз напомнила, чтобы я не забыл взять с собой зеркало. Я кивал головой и думал, какой найти довод, чтобы увильнуть от этого. Попытался незаметно выйти из дома, но, увы, жена молча указала на прямоугольный сверток, ожидавший меня в коридоре.

- Послушай... Может, завтра отнесу, сегодня у меня много дел.
- Отнеси сначала к антиквару, а потом весь день занимайся своими делами.

Решил последовать ее совету, однако не для реставрации, а просто чтобы между прочим спросить цену. Антиквар был нашим старым другом и очень удивился, увидев у меня в руках это старинное зеркало.

— Подарок... Получил совершенно случайно... — как бы оправдываясь, объяснил я.

Несколько минут он внимательно разглядывал узоры, удивленно и восхищенно покачивая головой. Затем перевернул зеркало и, вооружившись лупой, стал расшифровывать какие-то инициалы и цифры...

— Это сокровище! И как сохранилось! — наконец заговорил он. — Сделано в 1632 году, в Антверпене, в мастерской знаменитого мастера... Хочешь продать? Я найду тебе хорошего покупателя...

Я молчал, не зная, что ответить. Ведь таинственное женское изображение... Но постой, она просила ничего не менять, она ведь не сказала — не продавай!

— Сколько ты за него хочешь? — деловым тоном спросил хозяин магазина.

— Ты имеешь в виду только раму? А зеркало? Оно ведь тоже старинное... Может, ты хочешь его выбросить... заменить амальгаму или... вставить новое зеркало? — в смятении лепетал я.

Антиквар снисходительно улыбнулся:

— Что это ты такое говоришь, друг мой, как я могу себе позволить подобное варварство? Это зеркало такая же ценность, как и рама...

— Ну, раз так, оставляю на твою совесть. В последнее время у меня было много расходов, а то бы не стал продавать...

Антиквар уверил:

— Будь спокоен, останешься доволен, дай только время, не много, три-четыре недельки...

Когда я вернулся домой, жена первым делом спросила:

— Отнес к мастеру?

— Нет, оставил у антиквара, обещал продать... за хорошую цену.

— Может, так будет лучше, — согласилась она.

И я почувствовал, как на меня сошло блаженное облегчение, будто внезапно исчезла мучившая день и ночь невыносимая зубная боль. Однако утром меня ждал сюрприз. Едва рассвело, раздался телефонный звонок. То был антиквар.

— Прошу тебя немедленно прийти и унести свое зеркало, — резко и отнюдь не любезно потребовал он.

— Но ведь ты у меня попросил четыре недели, — опешив, проворкотал я.

— Ну и что? Это торговля, все может вдруг измениться... Приходи как можно скорее!

— А могу я узнать, почему ты так резко изменил свое решение?

В ответ он повесил трубку. Перед тем как выйти из дома, я решил поискать в справочнике адреса других антикваров и недалеко от нашего дома нашел одного. То был маленький магазинчик, скорее лавка старьевщика, набитая разнообразными вещами. В отличие от других ее хозяин, казалось, покупал и продавал все. Предметов искусства, однако, тем более ценных, я у него не заметил.

Стоя на пороге, я довольно долго ждал, пока хозяин появится из глубины магазина. Он внимательно осмотрел зеркало и, дав мне подписать какую-то квитанцию, понес его туда, откуда сам появился.

Прошло много дней, я совершенно забыл о зеркале. Затем мы на месяц уехали в отпуск. Вернувшись, как обычно погрязли в делах, но в один прекрасный день неожиданно позвонил старьевщик и попросил зайти.

— Знаете, — сказал он, — я нашел для вас нескольких покупателей, готовых хорошо заплатить, однако... как вам сказать... Вы, наверное, не можете, не имеете права продавать это зеркало.

— Не понимаю...

— Я вам объясню... — прищурился и хитро улыбнувшись, он посмотрел на меня. — Вы конечно же видели эту девушку, точнее, ее изображение в зеркале...

Я вздрогнул, вспомнив ту таинственную ночь.

— Я тоже ее видел, — продолжал старьевщик. — Мы уже целый месяц беседуем с ней... Я показал зеркало нескольким покупателям. Все они заинтересовались, а один хотел уже было забрать его. Но в ночь накануне его прихода в зеркале появилась девушка и попросила, чтобы я ни в коем случае не продавал... и чтобы обязательно вернул его вам...

— Ничего не понимаю, — опять сказал я.

— И знаете почему? Она влюблена в вас, вот уже более ста лет...

— Извините, но мне всего лишь тридцать пять, и видел я ее впервые, да и то в зеркале... Это форменный бред!

— Вовсе нет, уважаемый господин, это трагическая история. Кстати, знаете, как зовут эту девушку? Беатрис Стюарт, родилась она в 1867 году в штате Пенсильвания, в городе Редстон, в 1889 году покончила жизнь самоубийством из-за безответной любви, и парень, из-за которого она это сделала, был как две капли воды похож на вас, и звали его Эндрью Уильямс.

— Предположим, что это так, но при чем тут зеркало, какое оно имеет отношение к этой истории?

— Посмотрите сюда, — сказал старьевщик, показывая на беспорядочно расставленные в одном из углов магазина различной величины зеркала. — Каждое из них заключает в себе какую-то грустную или веселую историю... Когда мы смотрим в зеркало, видим только себя, но там, за стеклом, в тончайшем слое олова запечатлевается облик всех тех, кто когда-то смотрел в это зеркало. Эта неживая амальгама способна на протяжении веков хранить их живой образ, их последнее отражение перед смертью...

— Значит, опасно приносить в дом старые зеркала...

— Когда как... — не согласился он. — В вашем случае — пожалуй, и не только потому, что вы, как убеждена девушка, совершенная копия, двойник Эндрию Уильямса, но и потому, что зеркало сохранило облик самоубийцы, а души их, как известно, долгое время блуждают между землей и небом...

— Более чем трагичное состояние... — сочувственно заметил я.

— Вот именно, они покинули эту землю преждевременно и самовольно, и по этой причине земля отказывается их принимать... У них еще были дела на земле... они воспротивились воле Господа, а Беатрис, кроме всего, хотела еще найти в вас утешение...

— Но как я могу ее утешить? Что с того, что я похож на этого американца, родившегося сто пятьдесят лет тому назад?

Старьевщик пристально посмотрел на меня пронизывающим взглядом.

— У вас нет выбора, вы обязаны ее утешить... Это зеркало уже более века ищет вас... — Он опять показал на зеркала, расставленные в углу. — Я знал, что в конце концов оно попадет сюда и что принесете его вы, вы, чтобы продать, чтобы избавиться от ответственности и беззаботно жить себе в свое удовольствие...

Последние слова он произнес гневно, он почти кричал, что меня рассердило, поэтому я ответил ему в том же тоне:

— О какой ответственности вы говорите? Не могу же я искупать чужие грехи, я не Иисус Христос.

— Я тоже не Иисус, но мы люди, и если кто-то накладывает на себя руки, ответственны мы все, даже если это произошло сто лет назад... Кстати, не надо так бояться слова “ответственность”, это не такой уж тяжелый груз, иногда достаточно нескольких слов сочувствия и любви, чтобы спасти человека... Ваш двойник, вероятно, не захотел сказать этих двух слов, он бежал от своей судьбы, и Господь в вашем лице дал ему новую возможность исправить ошибку... Не бегите же от своей судьбы, помогите...

Я был вынужден придумать всякие небылицы, чтобы объяснить жене, почему я принес зеркало обратно. Единственное, что ее как-

то убедило, это ничтожная цена, которую якобы мне за него предложили. Решили, что попозже отнесем к другому антиквару. Жена согласилась, с условием, что зеркало будет висеть не у нее в комнате, а где-нибудь подальше от глаз. Не найдя такого места, на этот раз я решил повесить его в своем кабинете.

Повседневные дела полностью поглотили нас, и мы совершенно забыли о зеркале. Но однажды, как в ту таинственную ночь, необычная сила подняла меня с постели и направила к зеркалу... Из него, как в тот раз, струился серебристый свет. И опять же в зеркале появился какой-то силуэт. Когда очертания стали четче, я с удивлением обнаружил, что это не Беатрис Стюарт, а мужчина средних лет с густыми усами и короткой ухоженной бородкой, одетый по моде конца девятнадцатого столетия. Он вдруг надел очки и уставился на меня. От ужаса и удивления я окаменел. Это был Эндрю Уильямс, и он действительно был похож на меня. Будто был моим двойником. Губы его шевелились, он что-то говорил, может, о чем-то спрашивал, однако я ничего не слышал — время умертвило этот голос. Вдруг он начал уменьшаться и рядом появились очертания другой фигуры. Это была девушка, Беатрис Стюарт. Они посмотрели друг на друга. Эндрю с виноватой улыбкой что-то сказал, и я понял эти слова, услышал, поскольку и мои губы, независимо от меня, произнесли те же слова: “Прости меня”. Девушка улыбнулась, прикрыла его рот ладонью, и... я четко увидел, как они поцеловались, и это был скорее прощальный поцелуй. Изображение исчезло. Свет тоже. Зеркало успокоилось. И мне стало легче.

В эту ночь мне наконец удалось спокойно уснуть.

ВОЗМЕЗДИЕ

Первый сборник моих рассказов имел огромный успех. Я писала его без особых литературных претензий, просто потому, что не могла не писать. Это была своеобразная исповедь перед Господом. Пыталась быть предельно близкой к реальности. Казалось, что на плечи мои взвалена тяжелая ноша, от которой я смогу избавиться, только написав эту книгу. Однако оказалось, что “избавиться” не так-то просто...

Буквально через неделю после выхода в свет моей книги одна из моих соседок, которая обычно достаивала меня только

полупоклоном, встретившись в лифте, посмотрела на меня с загадочной улыбкой и молча показала на литературную страницу одной из самых престижных газет, которая полностью была посвящена сборнику моих рассказов. Там наряду с моими многочисленными фотографиями (и откуда они их нашли?) и биографией была напечатана хвалебная статья известного литературного критика о моей книге... Перед тем как выйти из лифта, соседка посмотрела на меня умоляющим взглядом и сказала: “Я была в пяти книжных магазинах, ваша книжка везде распродана... Могла бы я у вас попросить один экземпляр... от автора?.. И конечно с автором... как никак мы соседи...”

В тот же день, вечером, по первому каналу телевидения в культурных новостях, как о важном событии, сообщили о выходе в свет моей книги, процитировали несколько высказываний из статьи известного критика и отметили, что и другие газеты откликнулись на этот неожиданный литературный дебют.

Итак, у меня началась новая жизнь: что ни день — новый звонок, новая статья, новое приглашение, коктейли, банкеты... Потом пришли письма из престижных европейских издательств, и книгу мою начали переводить на английский, французский, итальянский, немецкий и даже... китайский.

Дни складывались в недели, недели в месяцы... Я почувствовала, что начинаю уставать от этой суматошной жизни. Кроме того, до меня дошли кое-какие ядовитые слухи, типа: “Подумаешь, великое событие! Что это все так всполошились?.. На самом-то деле — ничего особенного! В конце концов, каждый может написать в жизни раз, случайно, одну удачную вещь... Кто только сейчас не пишет?! Главное — после... Что будет после... Что она напишет после первой книги? Вот тогда станет ясно, кто есть кто и что к чему...”

Как бы я ни старалась игнорировать эти разговоры, они тем не менее задевали мое самолюбие. Я уже была готова поверить, что книга моя родилась случайно или, как говорили самые ядовитые языки, я “выиграла в лотерею”. Хорошо, пусть будет так! И я решила действительно доказать, “кто есть кто и что к чему”. В том числе и себе.

Я сняла тихую квартиру, заперлась и начала писать новую вещь. На этот раз — роман. Гениальный роман! Чтобы положить конец всяким разговорам.

На следующий же день после переезда на новую квартиру, утром, я уже делала первые наброски своего будущего романа. Не

заметила как меня поглотила работа. Неожиданно раздался звонок в дверь. Будто чья-то грубая рука вытащила меня из моего сновидения... Кто это мог быть? Никто не знал моего нового адреса, даже самые близкие родственники. В агенстве по недвижимости, где я сняла эту квартиру, специально потребовала, чтобы адрес мой никому и ни в коем случае не давали.

Наверное, ошиблись... Решила не открывать. Позвонят и уйдут. Однако в дверь упрямо продолжали звонить. Раз так, то тем более не открою. Наконец звонки прекратились. Я облегченно вздохнула. Четко были слышны удаляющиеся шаги. По походке можно было догадаться, что это грузный мужчина.

Я села к столу и вновь попыталась собраться с мыслями. Но, увы, они улетучились! Голова у меня была совершенно пустая. После двух чашек кофе и многочисленных сигарет кое-как удалось сосредоточиться, я взяла ручку, чтобы восстановить потерянную нить, но тут послышался агрессивный перестук женских каблучков. Шаги остановились перед моей дверью. Опять зазвенел звонок, на этот раз резкий и нервный. Что происходит?! Вероятно, это знакомые прежнего жильца. Зачем тогда открывать? Однако звонки не прекращались. Я плотно зажала ладонями уши, однако тщетно — не помогало... Ну сколько можно терпеть?! Я резко вскочила и в бешенстве бросилась к двери...

Звонок неожиданно умолк, и в дверь стали яростно колотить. Я на цыпочках, тихонечко подошла и осторожно посмотрела в глазок. Увидела искаженное лицо. Кажется, то была женщина. “Ну, что тарачишься, не узнаешь?! Сейчас же открой!”

Я в ужасе отпрянула и неожиданно для себя спросила: “Кто вы? Что вам нужно?” — “Открой, узнаешь! Я — Героиня твоя!”

Я не поверила своим ушам. Что за шутки?! И не почувствовала, как открыла дверь.

Это была Мари. Она резко вошла. Я механически предложила ей сесть. Однако она демонстративно отказалась, зажгла сигарету и стала нервно кружить по комнате.

— Что случилось, почему ты такая взволнованная? — забеспокоилась я.

— Еще спрашиваешь?.. — сказала она и, оглянувшись вокруг, продолжила: — Ну что, довольна собой? Подлая тварь!

— Не понимаю, что ты несешь? — возмутилась я.

— Очень даже понимаешь, нечего притворяться!

Я почувствовала, что и в самом деле произошло что-то серьезное, и попыталась успокоить ее. Но она меня оттолкнула, из глаз ее брызнули слезы.

— По какому праву? По какому праву ты влезла в мою личную жизнь, все перевернула, выдала мои секреты мужу, рассказала на весь мир...? Опозорила меня! — задыхаясь от рыданий, она бросилась в кресло. Затем, немного успокоившись, продолжала: — Всю ночь мы не спали... Он требовал, чтобы я назвала насильника...

И только сейчас я поняла, о чем речь.

— Пстой, тебя что, на самом деле изнасиловали? Я не знала об этом... Это всего лишь моя фантазия...

— Не притворяйся! Так точно описано... С такими подробностями... Читала и плакала, будто все заново пережила... Не знала!.. Гм!

— Клянусь, этого я и вправду не знала... Помнишь случай с гостиницей, о котором ты мне рассказала? Я, потрясенная, слушала... Помнишь, я записи делала? Ты даже спросила, что это я пишу и для чего... Я сказала, что хочу использовать эту историю в каком-нибудь своем рассказе, конечно же изменив имена... Помнишь, ты согласилась, дала свое согласие? Что же ты теперь хочешь от меня? Клянусь, все остальное — плод моего воображения, мой вымысел...

Наступила гробовая тишина. По лицу подруги можно было догадаться, как она страдает. Затем, уже чуть спокойнее и подчеркивая каждое слово, она произнесла:

— Ладно, я верю, что это твой вымысел, поскольку я никому об этом не рассказывала... Но можешь уверить в этом моего мужа?.. Кстати, твое воображение мне очень дорого стоило... Муж решил развестись со мной.

Она вытерла слезы, глубоко вздохнула, встала и направилась к выходу. Обернувшись в дверях, с королевским хладнокровием произнесла:

— Все, точка! Конец нашей дружбе!

Дверь с грохотом захлопнулась. Я, опешив, стояла посреди комнаты. Опустошенная. Не понимала, виновата я или нет? Где начинается и где кончается право писателя и его ответственность? Со страхом посмотрела на мой новый, только что начатый роман. Какие новые любовные связи разорвет, какие новые семьи разрушит эта еще не написанная вещь? И стоит ли продолжать?

В момент этих тяжких раздумий раздался телефонный звонок. Странно, никто ведь еще не знал моего нового номера. Это оказался мой знакомый.

— Послушай, ты что, пророк? Книгу твою я прочел на одном дыхании. Рассказ, в котором ты описываешь, как твой герой заразился спидом, меня просто потряс... Это так похоже на мою историю, что я сразу забеспокоился... Ведь я почти при таких же обстоятельствах женился на своей жене... Сразу же побежал к врачу... и выяснилось, что... действительно, черт побери! действительно я болен... Сейчас уже поздно... Не могла чуть раньше предупредить? Настоящие друзья так не поступают. Ну, что теперь говорить, лучше поздно, чем никогда, и на том спасибо...

И бросил трубку.

Я стояла с раскрытым ртом. Как только я положила трубку, телефон вновь зазвонил. На этот раз голос был женский. Женщина исторически кричала, слова путались, насккивали друг на друга, я поняла только, что она мне угрожает, так как книга моя нарушила ее семейный покой... “Жили себе спокойно, не подозревая, что больны, что же теперь будет?..” — рыдала она в трубку.

Я была как побитая собака. Голова не работала. Что же я наделала? Откуда мне было знать, что это их истории?.. Может, я когда-то и слышала нечто подобное о них, однако напрочь забыла, это вошло в мое подсознание и, когда понадобилось, независимо от меня всплыло, выплеснулось наружу... И потом, кто сказал, что эти истории — их собственность, подобных историй тысячи... И несмотря на все эти самооправдания, я чувствовала себя очень уязвленной и виноватой. Что есть правда: реальность или вымысел? Порой вымысел кажется реальнее правды. Но человеческий мозг, говорят, не способен выдумать то, чего нет, чего не существует в природе... Получается, что... Мысли у меня стали путаться... Я легла на диван и свернулась в клубок, как ребенок... Через несколько секунд спасительный Морфей унес меня в иные миры, далеко от всяких проблем.

Однако... преследователи проникли и в мой сон... Они подошли на персонажей Босха: каркали, рычали, шипели и лаяли... Все сразу, одновременно собрались у меня в изголовье и с искаженными от гнева багровыми рожами чего-то требовали... С четырех сторон ко мне тянулись когти... и с исступленным визгом в ключья рвали на мне одежду ... один из когтей завис над моими глазами, стал приближаться и неожиданно замер... вокруг все стихло, наступило гробовое молчание, и я вскочила...

Лбом я ударилась о что-то холодное, металлическое... Передо мной стоял разъяренный мужчина с пистолетом в руке... Вероятно, вскочила я очень резко, потому и ударилась головой... Он не успел убрать руку... Это еще кто? Что я еще плохого сделала?

Чью еще жизнь разрушила? Чью оскорбила честь? Кто и чем недоволен? Идите все сюда, разберемся все сразу... Нервы мои больше не выдерживали... Меня стало трясти...

— Что вы на меня так смотрите? Что вам нужно? Хотите убить? Могу хоть узнать, за что?

Мужчина молча улыбнулся. Зловеще.

— Не хотелось бы мне, перед тем как вас убивать, давать объяснения... Вы просто не стоите этого... Вас нужно пришибить как собаку... И я сейчас это сделаю...

Он подошел еще ближе и приложил пистолет к моему виску...

— Но умоляю, скажите, за что вы хотите меня убить? Может, я обидела вас, не желая того, случайно... по недоразумению...

— Нет никакого недоразумения. Все верно. Но правда эта тебе будет стоить дорого... У меня уже есть опыт давить таких гадюк...

— Но кто вы? Я ничего не понимаю... Объясните мне, ради Бога...

— Я тот, кто сумел обмануть весь мир, обвести вокруг пальца... Кто убил свою жену и вышел сухим из воды... Но ты продала меня, выдала мой секрет... Теперь всем известно, что убийца — я! И меня ждет новое расследование... Я, конечно же, на этот раз не выпутаюсь... И зачем только тебе нужна была эта правда, ничтожество?! И откуда тебе все это известно? Я сейчас тебя прикончу... Запомни: ты сама подписала свой приговор!

— Клянусь, я ничего не знала... я даже не знаю, кто вы... и вашу жену я не знаю... Эта история полностью вымышлена... Клянусь!.. Пойдите-ка! Здесь есть письмо... я получила его недавно... анонимное... с тем же обвинением... Не вы ли, случайно, его автор?

— За кого ты меня принимаешь? У меня нет привычки писать письма... Я долго не церемонюсь... — зловеще засмеялся мужчина.

— Но человек, написавший письмо, утверждает, что я раскрыла его преступление... Значит, я писала не о вас, а о нем... — пыталась оправдаться я.

— Так я и поверил...

— Если не верите, сами прочтите, смотрите, вот оно... письмо... пойте-постояйте... кажется, было еще одно... вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре... читайте, читайте... все пишут о том же... утверждают, что я написала о них... Неужели я виновата, что все вы преступники? Убиваете... убиваете жен своих... теми же методами... теми же способами... по тем же причинам... Хотя бы имели немного фантазии, черт побери! Убирайтесь от-

сюда, пока еще живы, пока я не вызвала полицию, мразь... — и резким приемом каратэ выбила из рук его пистолет.

Я так разъярилась, так рассвирепела, кричала так уверенно и властно, что преступник растерялся и, обезоруженный во всех смыслах этого слова, капитулировал.

Его уже не было, он уже вышел из квартиры, а я все кричала... продолжала кричать... кричала, чтоб слышали все, чтоб запомнили, что если даже узнали себя в каком-нибудь произведении, то пусть не смеют... не смеют приходить к писателю и предъявлять ему претензии, требовать удовлетворения, сводить с ним счеты... Пусть прежде всего сами себе предъявят счет... о чести своей пусть заботятся раньше, всегда... постоянно... пусть честно живут... и по совести... Вот так вот!

Затем, утихомиренная, села к своему письменному столу и с еще большей уверенностью начала новую страницу...



Или ты, что не чувствовал,
 Как ты мне нужен, не ты ли?
 или... я...

Уже поздно, уже слишком поздно:
 Во мне твоя дверь заперта.

Я ВПРОЧЕМ – КАК ЗАХОЧЕШЬ

Не приходи...
 С сегодняшнего дня я изменилась...
 Смотри-ка, сколько я тебя ждала.
 Еще вначале ничего –
 Я перед зеркалом сидела,
 Косу плела, потом переплетала...
 Но день за днем все больше увядали
 Ромашки с астрами
 в моем венке,
 Когда подол, приподнятый для танца,
 Уставший ветер бросил,
 Когда огонь тоски
 Меня окутал с ног до головы,
 Мне вспомнилось,
 Что я вполне разумна,
 А может быть, значение имело
 И самолюбье –
 До каких же пор!
 Ведь если это будет длиться
 дальше,
 Что от меня останется тогда?..
 Решенье было верным и уместным,
 И вот отныне я совсем другая
 И не осталось ничего от прежней
 любви-желанья,
 Как тебя там звали?
 А впрочем, все равно...
 Смотри какие воды
 Несет с собой раскрывшееся утро...
 Не приходи...

ОБЕЩАЙ МНЕ

Тебе меня еще придется долго ждать,
Полным-полно пока дел с солнцем у меня —
Запутались его соломенные пряди
В дыханье золотом пшеничных нив,
Так что? Не высвободить их?
Меня не торопи: в синеющей ночи
Чьи полы рассечет луны новорожденной
блистающий клинок,
Я присоединюсь к певцам моим, сверчкам...
Не жалуйся же, что любовь моя мала:
Душа моя, ты видишь, как велики мои долги,
Поля ромашек белых,
Что будут делать без меня они?..
Так потерпи чуток,
Так строго стережет меня ревнивый ветер,
Его оставлю я, когда осилит дрема...
Но только... не ревнуй,
ведь для твоей любви
Безропотно, взгляни, свой берег оставляю...
Ты только обещай,
Что преданности этой
Взамен я от тебя не меньше получу
ромашек, солнца, ветра...

Перевела Анаит Татевосян

Ты ушел далеко,
А я... странницей стала...
Столько гор, столько бездн и морей
Мои мысли преодолели,
Чтобы настичь тебя.
Мои мысли сейчас,
Оставив огни восходящего дня,
Вверх по планете,
Вниз по планете летят,
Ищут ночь, чтобы с нею слиться
И стать твоим сном...

Мои ноги
Без конца топчут упрямо —
К тебе, сделав путь вождельем...
Дни приходят, уходят и часто
Отмечают мое отсутствие,
Потому что я вся в былом,
Вспоминаю пережитое:
Звон гитары, вино и свечи...
И иду по твоим следам,
Отвергая границы и межи
И смешав “вчера” и “сегодня”...
Ты ушел, а я странницей стала...

Как я люблю этот чистый рассвет:
Свет пригоршней, подол яркорозовый,
Усеяно поле цветами, и каждый цветок
Ждет меня с жаждой в глазах...
Как я люблю тротуар этот, старый и пыльный,
Где следы твоих ног отпечатываются, остаются,
как на полотне,
А если дождь их смывает потом, —
Люблю его серые струи.
Люблю я даже того неуклюжего человека,
Что ногу мне отдал в суматохе;
Даже давнего злого приятеля моего,
Что на меня поглядывает косо...
И снег я люблю, всегда ненавистный,
И всех повстречавшихся мне на дороге
Собак и ворон...
И ночь я люблю,
Все звезды ее, известные и неизвестные...
Я мир этот старый люблю безгранично,
Хотя и ругаю его постоянно,
Но уже не ропщу я и с жизнью не спорю,
И прочно мое примиренье с судьбой...
Я всех люблю...
И ты после этого
Ждешь от меня признанья в любви?

Перевела Каринэ Лазарева

Джюльетта Мелик-Мартиросян

ПЛЮШЕВЫЙ АЛЬБОМ

Рассказ-быль

– Аванесова*, к ректору!

В дверь аудитории просунулась голова секретарши ректора, довольно миловидной девицы с модной прической “Бабетта”.

Все в аудитории посмотрели на меня: за что? Я растерялась. Наверное, секретарша что-то напутала. Но голова не исчезала, секретарша ждала. Господи, что же могло произойти? Я, студентка второго курса факультета русского языка и литературы Азербайджанского пединститута им. М.Ахундова, этого ректора, некоего Мамедова Гулама Керимовича, сухопарого важного старика, передвижавшегося по институту только в сопровождении свиты из нескольких человек, видела издали пару раз. И вдруг я ему зачем-то понадобилась...

На ватных ногах я прошагала к двери. Лектор прервал лекцию и ждал. Кабинет ректора был на втором этаже, и, пока мы спускались с четвертого, я пыталась выяснить у секретарши, в чем же дело, но она загадочно улыбалась: “Не знаю, сейчас узнаешь”. Но по ее загадочной улыбке чувствовалось, что она что-то знает...

“А, будь что будет!”

Дошли до приемной ректора. Секретарша открыла тяжелую дубовую дверь ипустила меня в кабинет. Ректор сидел за столом. Увидев меня, он, широко улыбаясь поднялся и ласково сказал:

– А, гызым* Аванесова, это ты! Садись!

Я ожидала всего, но не такого радушного, я бы даже сказала, подобострастного приема. Он усадил меня в широкое кожаное кресло – и замолчал.

И тут я увидела на столе знакомую коричневую коленкорovou папку – это был мой реферат (доклад) о М.В.Ломоносове, вернее, о вкладе Ломоносова в теорию стихосложения. Сейчас, за

* Девичья фамилия автора.

* Девушка, дочка (азерб.).

давностью лет, я не помню точного названия этого доклада (дело ведь происходило в далеком 1961 году).

Месяца за два до этого на первом этаже нашего института появилось объявление, написанное крупными буквами: к 250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова будут проводиться Всесоюзные Ломоносовские чтения в Ленинграде. Поедут на эти чтения студенты, занявшие первые места в республиканских конкурсах, посвященных юбилею Ломоносова. Принять участие в конкурсе могут все студенты, начиная со второго курса. Тема докладов, естественно, должна быть посвящена жизни и творчеству Ломоносова. Работы сдавать на кафедру русской литературы на таком-то этаже. Работы будут посланы на конкурс под девизом (девиз студент выбирает сам). Вот примерно такое объявление висело в вестибюле. Я, надо сказать, была очень активной студенткой, в том смысле, что учиться мне было интересно, до всего мне было дело. И я решила попробовать. Очень хотелось в Ленинград, где я никогда не бывала (да и вообще нигде еще не бывала...).

Целый месяц я пропадала в Публичной библиотеке, прочитала массу книг и статей о Ломоносове. Не знаю почему, но я остановила свой выбор на ломоносовской теории стихосложения.

Написала, положила доклад в коричневую коленкоровую папку (не помню уж, какой девиз я себе придумала), на отдельном листочке написала свои имя, отчество, фамилию, курс, факультет, институт, девиз и вложила в эту же папку.

По условиям конкурса листочек этот должен был храниться в конкурсной комиссии, и лишь после оглашения его итогов станет ясно, кто автор того или иного доклада. С нашего курса никто, насколько я помню, не принимал участия в этом конкурсе.

— Тебе что, делать нечего? — возмущалась моя близкая подруга Нагиева Тамилла (Томик, как я ее называла), когда я отказывалась идти с ней после занятий в кино и бежала в публичку. — Зачем тебе это?!

Ну, сдала я свой доклад на кафедру русской литературы (в то время, если мне не изменяет память, заведовала ею Анна Абрамовна Рошаль) — и забыла про него.

Как потом выяснилось, в этом конкурсе принимали участие в основном студенты старших курсов нашего института, студенты филологических факультетов АГУ и других вузов Азербайджана.

Прошло месяца два или три, я уже и забыла об этом — и вдруг вызов к ректору. Когда я увидела свою папку на столе у

ректора, я поняла, что вызвали меня из-за моего доклада. Но пока ни о чем не догадывалась...

— Поздравляю, гызым, твой доклад занял первое место на республиканском конкурсе. Молодец! — сказал ректор.

Я залилась краской, смутилась. Мне вообще было не по себе в этом солидном кабинете, в этом огромном кожаном кресле — никогда еще я в таком не сидела...

Ректор продолжал:

— Я хочу, чтобы ты правильно меня поняла и не подумала, что я давлю на тебя. Понимаешь, в чем дело... Я уверен, что от каждой республики в Ленинград должен поехать представитель коренной национальности этой республики: от Грузии — грузин или грузинка, от Армении — обязательно — армянин или армянка. Хотелось бы, чтобы и от Азербайджана поехала азербайджанка, ты меня понимаешь?

Я кивнула головой: конечно, понимаю.

— Это очень важно для нас. Но ты не думай: решение должна принять ты. Для этого я и пригласил тебя сюда. Если ты не против, с твоим докладом поедет в Ленинград студентка пятого курса Алиева Светлана. А тебя мы наградим, мы приготовили тебе подарок. — И он кивнул головой на огромный красный плюшевый альбом для фотографий, лежавший рядом с моим несчастным докладом. Значит, был уверен в моем согласии...

Я молчала, не зная, что сказать... Мне ведь было всего восемнадцать лет, многого я просто не понимала. Да и не по себе мне было: сам ректор! Ходит вокруг кресла, ласково обнимает меня за плечи и спрашивает моего согласия... Тут у любой девчонки голова закружится.

— Ты не торопись, гызым, не хочешь — не надо, но я еще раз хочу сказать: представляешь, как это будет нехорошо, если от Азербайджана поедет не азербайджанка. Ну, что скажешь? Согласна?

Я, ничего не соображая, прошептала:

— Да, согласна.

— Ай молодец! Я не сомневался, я был уверен, что ты умная девушка и все поймешь. Ты же отличница, тебя так хвалят преподаватели. Спасибо!

Ректор пожал мне руку и вручил тяжеленный альбом и еще какой-то сувенир, не помню какой.

Он проводил меня до двери, еще раз пожал руку.

Секретарша сидела за машинкой. Она улынулась мне и сказала:

— Молодец!

Видимо, была в курсе, за что меня наградили альбомом...

Я победно вошла в аудиторию. Все посмотрели на альбом — мол, а это что?

Я села на место. Томик спросила:

— А это что?

Я прошептала:

— Потом объясню.

На перемене ей и еще нескольким любопытным объяснила, зачем меня вызывал ректор.

Наш староста Аллахвердиев Тофик одобрительно похлопал меня по плечу:

— Молодец!

Амирдянова Наргиз зло сказала:

— А что, из Азербайджана должна поехать армянка?! Этого еще не хватало!

Признанная красавица курса, еле-еле учившаяся на тройки (что, впрочем, впоследствии не помешало ей стать кандидатом, а потом и доктором наук и заведовать где-то кафедрой русского языка) Амрахова Гюльнара заявила:

— Ты поступила правильно. Надо думать о чести республики!

Сейчас бы я ей, конечно, ответила: “Вот ты бы и подумала, написала бы сама что-нибудь”.

Притащила после занятий этот тяжеленный альбом домой. Рассказала, за что получила его.

Отец посмотрел, ничего не сказал. А вечером вдруг заявил: “Надо тебе отсюда уезжать! В Ереван”.

Летом 1962 года, закончив на “пятерки” второй курс, я перевелась в Ереванский пединститут русского и иностранных языков им. В.Я.Брюсова (тогда он располагался в двухэтажном здании на улице Амиряна).

Когда я забирала свои документы в АПИ им. Ахундова, наш декан Абдулла Шабанович Шабанов (кстати, армянин по матери), сказал мне:

— Зачем ты это делаешь? Разве к тебе здесь плохо относятся? Ты круглая отличница, член комитета комсомола института.

Я молчала.

— Ну ладно. Поезжай, если решила. Но если надумаешь вернуться, мы тебя снова примем, хотя и не имеем права.

Я не вернулась.

Но зимой я приехала домой на каникулы. И моя подружка То-мик сказала мне:

— А знаешь, твой доклад, с которым Алиева Света поехала в Ленинград, занял второе место (серебряная медаль) на Всесоюзных Ломоносовских чтениях. Она сразу получила направление в аспирантуру по русской литературе.

Я даже не удивилась.

А красный плюшевый альбом валялся неиспользованным в ящике нашего буфета — он был слишком большой и неудобный для хранения фотографий.

...Летом 1989 года моя семидесятилетняя мать, спасая свою жизнь, бежала из Баку.

Отца уже давно не было в живых.

Плюшевый альбом остался в нашем доме, в буфете. Возможно, кто-то потом и использовал его по назначению. Кто знает...



Эдвард Ахвердян

У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО МОРЯ

Стихи

Перевод Г.Баренца

АРЕСТАНТ

Мне нужно пространство —
Протяженностью в голос,
В приветствие...

Рыбы плавают не только в воде,
И пространство океанов ограничено...
Они плавают
В небе, отраженном водой,
В звездах,
В луне
И в солнце.

Я кликнул солнце
И нарисовал небо
На стенах, что меня окружают,
Но решетки
Рубили, сжимали мое пространство,
И мой голос приглушается
В кричащем молчанье застенков.

Между нами — застенки,
Взятые в плен молчаньем.
И решетки, решетки,
Которые бездумно
Разрушают мое пространство.

Если однажды придешь
И не застанешь меня —
Разрушь решетки на моей могиле
И принеси мне в подарок
Пространство —
Величиною с приветствие.

ДРОВОСЕК

Деревья на тротуарах
Не могут обнять друг друга:
Их руки всегда подрубают,
Так же, как руки мои,
Что бессмысленно растянуты в пространстве
И в этом молчанье,
Что стало дровосеком
Между мной и тобой.

ПРОШАНИЕ

Стоял.
Не курил,
Не улыбался,
Сухими глазами
Молча смотрел
На свою необратимую потерю
И ни о чем,
Ни о чем не просил.

Стоял
И не мигая смотрел
На ту трепещущую руку,
Что медленно растворялась
В вечерних сумерках.

ОДИНОЧЕСТВО

Ты мне предано больше,
Чем стены — потолкам,
Рамки — картинам,
Замки — ключам,
Тени — предметам;
Ты мне предано больше,
Чем слово — своему корню,
Река — своему руслу,
Сердце — разуму
И разум — вдохновению.
В моем сердце,
В моих глазах,
На стенах дома моей тоски
Запечатлен твой образ.
О, одиночество,
Чудотворное и терзающее,
Своим пристальным холодным взглядом,
Своей бесславной тенью,
Ты будешь всегда сопровождать меня,
Сопровождать меня,
Сопровождать меня...
Либо на берег,
Либо в безвестность океана.

ОЖИДАНИЕ

Всю ночь напролет
Мы молча сидели
У постели больного моря...

Луны не было,
И не было сверкающих звезд,
Было только дыханье, тяжкое дыханье
Фосфоресцирующих волн...

На рассвете
Его глаза были влажны...

Интересно, кого
С нетерпением ожидало море?..

Жизнь —
Вот самая великая
И самая чудесная
Нелепость...
Искусство
Пытается придать
Смысл и прелесть
Этой таинственной
Нелепости.



Захрат

ТОЛИКА СЧАСТЬЯ

Стихи

*Вступительное слово и перевод Г.Кубатьяна****От переводчика***

Захрат – один из крупнейших, если не крупнейший поэт армянской диаспоры – завершил своё поприще. Он родился в Стамбуле в 1924 году, скончался там же в 2007-м. Всякий значительный писатель стоит особняком, и Захрат иллюстрирует эту мысль очевидным образом. Он первым из соизмеримых с ним армянских авторов отказался как от внешних примет стиха – метра, рифмы, – так и от знаков препинания. Но, помимо сразу бросающихся в глаза внешних обстоятельств, он очень далёк от соизмеримых по классу поэтов и в силу сугубо внутреннего качества своих миниатюр – их иронии, временами мягкой, улыбочивой, временами же саркастической, злой, издевательской. Иной раз его стихи напрямую переключаются с живописью примитивистов; арсенал его средств очень ограничен, а подчас именно что примитивен. Однако не путайте примитивизм этого поэта с примитивностью. Небывалая смесь иронии с лиричностью, вдобавок и с парадоксальной философичностью делают его творчество заслуживающим и живого чтения, и серьёзного, глубокого прочтения, то есть анализа, постижения.

Чтобы дать о Захрате мало-мальски верное представление, скажу, что он в полной мере владел искусством поэзии, пользовался, случалось, и рифмованным стихом, и даже столь изощрённой формой, как баллада. Стиховое дыхание поэта было весьма тренированным, его хватало не только на миниатюры, но и на продолжительное высказывание. Но в одной публикации не объять необъятного.

ПОЛЕ

Говорят дескать
 плодоносное поле
 воздаёт сторицей
 Один схоронил
 на поле жену
 и ждёт-пождёт

ДВЕ ВЕСНЫ В ОДНОМ КАМНЕ

Жёлтый кот
 закинул на дерево
 камень
 С дерева упали
 две весны
 одна тебе — одна мне
 Бедняга кот
 опять остался ни с чем

ЖЕНА ВАРИТ ОБЕД

— Чесноку-то вдоволь?
 — Четыре дольки больше некуда
 — Мало
 в книге сказано шесть
 — Ты на неё не гляди
 — На тебя что ли глядеть?
 — Тридцать лет назад
 иначе пел
 — Зелен был
 — А теперь?
 — Ох и страшное было время
 — Страшное было время
 — Ты куда?
 — За чесноком
 добавлю две дольки

БЕЗ УЖАСА

Поскольку мы были рекою текли
коли надобно влиться в море ли озеро ль
это мы вливаемся

Поскольку мы были стрелою неслись
коли требуется проломить препону
это мы ломаем

Поскольку мы были иглою в стогу
коли необходимо пропасть однажды
мы не пропадем

УЛИЦА МЕХМЕТ-БЕЙ

Вымостили улицу Мехмет-Бей
сделали тротуар
вот Карапет и не поймёт
по тротуару ль идти посередке ли

Что ни день от зари до зари
ходить Карапету по улице Мехмет-Бей
Грустно ему

Видит он временами
пылилки со старой улицы Мехмет-Бей
сиротеют на его шлёпанцах
Карапеты шлёпанцы балдеют на уличной плитке

Вымостили улицу Мехмет-Бей
Грех им

ПРОВИДЕНИЕ

Сбегал за бутылочкой безнадёги
разлил по стаканам
выпили за здоровье
и померли

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Чтобы нарядить ёлку
нужны две вещи
сперва ёлка потом украшенья

Чтобы нарядить ёлку
нужны три вещи

Вдобавок ко всему
вера в счастливое будущее

Чтобы нарядить ёлку
не нужно ни ёлки ни украшений
довольно легковерной души
для которой и щебень алмаз

Чтобы нарядить ёлку
вполне хватит иллюзий

С Новым вас годом и с новой иллюзией

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА-2

Повесьте на ёлку шаров, даров и снежный покров
повесьте на ёлку гирлянд и жестяной брильянт
повесьте игрушек-зверюшек
повесьте звёздочек-блесточек
машинок и гаражей иллюзий и миражей

Дайте пинка — пусть валится

Возьмите новую ёлку скукой её увесьте
увесьте ёлку скукой и скукой и скукой

Чего бишь у вас ещё-то в избытке?

ДВЕ СВЕЧИ

Нынче ночью
я затеплил две свечи
перед большим образом Богоматери

И сказал
если тебе этого довольно
и через одну свечу сбудутся все мои желанья
Богоматерь моя
подведи меня шаг за шагом к счастью
ибо ты лучше знаешь
чего мне желать чтобы стать счастливым
Не забудь
одна из этих свечей я

Так я сказал Богоматери нынче ночью
затепливая перед образом две свечи

И сказал
тебе наверное ведомо
чья бишь эта вторая свеча
мы много с тобой о ней говорили
она возможно
мало что знает о Боге и Богоматери
и понятия не имеет
что сию секунду я затеплил вместо неё свечу
неважно
Богоматерь моя
Удели ей толику счастья
не забудь
одна из этих свечей — она

Тебе-то ведомо как я её люблю

ПОЗДНО

Ни тебе и ни себе
 не написал
искрящейся юношеским пылом
 златотканой песни любви

Когда я постучался к тебе
было слишком поздно

РАКУШКА

Разломил ракушку — внутри
синее-синее
плескалось море

Не выпьешь — не по зубам

ПОКОРМИТЕ

Когда поймёте —
вам уже
нечего дать человечеству
покормите птиц
у Ениджами^{*}

ГОСПОЖА ВЫ И ГОСПОДИН Я

Если соблаговолите госпожа
вы оттуда я отсюда возьмём просторный этот мир
сложим сложим — уменьшим
до размеров постели

А там если соблаговолите
всё лишнее многолюдье этого мира
сбросим с постели
в тартарары

И останемся вдвоём
Госпожа Вы и Господин Я

** Мечеть в Стамбуле, площадь у которой известна обилием голубей.*

ТРУДНО

Петуху яичко снести ох и трудно
 “Нет и нет” согласьем снести ох и трудно

Новый год — любви и яств изобилье
 и сухую корку есть ох и трудно

Праздник — сызнава питьё и похмелье
 пить в кредит — дурная честь — ох и трудно

Думал о тебе весь год — притворяться
 не люблю мол — в маску лезть ох и трудно

Я и ты сложите — мы будет в сумме
 да сложенье произвесть ох и трудно

Из цикла “КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КИКО”

ВРОДЕ СЕРЕНАДЫ

Как добрая любовница
 мгла сжала Кико в объятьях
 Когда под утро везде сыро
 сыры мачты и воспоминанья Кико
 надо дружески поприветствовать фонари
 приласкать балюстраду моста
 и съёжиться в объятьях мглы

Мгла добрая мгла объемлющая всё руками
 всё — мачты и острова и Кико
 словно добрая любовница

Когда ты один
 что вернее большего горя?

Кико мечтает
 и как добрая любовница
 мгла сжала его в объятьях

УЛИЦА АХМЕД-ЭФЕНДИ

Страшно Кико идти по улице Ахмед-эфенди
Улица Ахмед-эфенди темна
Во тьме целуются парочки

Страшно Кико идти по улице Ахмед-эфенди
Одиночество заставляет думать

АВАНТЮРНОСТЬ

Мысль у Кико рыскает по городам —
Кико думает о мире

Мысль у Кико блуждает по планетам —
Кико мозгует о Солнечной системе

Мысль у Кико устремляется к звёздам —
Кико воображает вселенную

Быстрее света
мысль у Кико рассекает дали

и тушется — нельзя же
странствовать по свету задаром

НУЛЬ

Одиножды один один
Одиножды Кико нуль

Дважды один два
Дважды Кико нуль

Десятижды один десять
Десятижды Кико нуль

Сто раз один сто
Сто раз Кико мы



ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Эрнест Григорьян

ПОСТКРИЗИСНЫЙ МИР И ДИАСПОРА

Инородность как мотив прогресса

Феномен диаспоры долгое время оставался в тени научного внимания. Однако с точки зрения социологии длительное существование этнических диаспор как социальных образований подтвердило три факта: а) этнос первичен перед государством; государственные образования меняются, а этносы ведут себя гораздо консервативнее любого государства; б) при всем своем желании и целенаправленной политике государство не всегда способно ассимилировать диаспору и подчинить ее своим интересам; зачастую оно само становится инструментом реализации интересов диаспоры; в) диаспорой можно назвать этническую группу, проживающую вне страны происхождения, только при условии наличия у нее способности к самоорганизации; именно последняя поддерживает существование диаспор. Поэтому не всякая этническая группа может претендовать на статус диаспоры.

Поскольку моноэтнических государств практически не существует, даже РА имеет около 5-7 процентов иноэтнического населения, то в функционирование государств надо внести и такой тщательно замалчиваемый фактор, как борьба диаспор за лидерство в государстве. Марксистские идеологические шоры не позволяли историкам распознать в борьбе синей и зеленой партий в Византии не классовую борьбу (и там и там предводителями были богатые феодалы), а этническую конкуренцию армян и греков за овладение империей. Прекраснодушные теории либералов о “государстве граждан” — мираж, рассеивающийся без следа при близком взгляде на функционирование государств, имеющих диаспоры. Многие революционные и исторические трансформации гораздо адекватнее объясняются этническими противоречиями, в частности, борьбой диаспор за овладение го-

сударством, чем пресловутой классовой теорией. Известный социолог В. Зомбарт писал: “Достоверно известно, что в XVII и XVIII веках не было ни одного немецкого государства, которое не имело бы при себе одного или нескольких придворных евреев. От их поддержки существенным образом зависели финансовые возможности страны”. Более того, как пишет Генрих Шнее: “Во всех важных внешнеполитических событиях придворные финансисты принимали участие прямо или косвенно: в дипломатических миссиях, при повышении в должности, при приобретении корон для королей и головных уборов князей, в финансировании войн, продавая и покупая земли, передавая субсидии”. Поэтому уже для Германии (как, впрочем, и для многих других стран) можно было выделить два направления внешней политики: одно отвечало интересам германского государства, другое — интересам еврейской диаспоры. Конечно, в каких-то вопросах они радикально расходились, и не обязательно государственный или, как принято сегодня говорить, национальный интерес (что бы это значило, например, в случае России?) брал верх. Например, пресловутая теория якобы необходимого немцам жизненного пространства, послужившая спусковым крючком для Первой и Второй мировых войн, вряд ли была производной от идеологии Священной римской империи и скорее была нужна растущему капиталу для приобретения новых финансовых рынков. Точно так же то, что называлось классовой борьбой в России в XIX-XX вв., скорее было борьбой между интересами идеологов внешнеполитической экспансии Германии и окрепшей, уже мировой еврейской диаспорой за овладение государством.

Вырабатывая классовые теории, их идеологи преследовали цель разрушить феодальные иерархии изнутри, руками самих граждан, воодушевленных лозунгами равенства, братства и справедливости. Они и были разрушены, но на ключевые политические позиции были поставлены представители третьего сословия, менее всего пригодные к такой деятельности.

Однако феодальные иерархии никуда не ушли, только стали идейно рангом ниже. Византийский феодал, например, мог претендовать на трон императора, но сегодняшний слой предпринимателей вынужден пробиваться к власти через разветвленную партийно-политическую систему, находящуюся под неусыпным надзором во всех своих звеньях. Опыт буржуазных революций был учтен, и в постреволюционных странах Европы (а также в России) были усилены барьеры против возможной трансформации политического режима.

Эти квазифеодальные иерархии сегодня существуют в форме мощных корпораций, поставляющих своих людей во власть. Чем мощные транснациональные компании или сырьевые монополии, диктующие свою волю государству, отличаются от феодальных вотчин? Да, сейчас нет натурального хозяйства, но эти компании, обеспечивающие своих сотрудников буквально всем, имеющие даже собственные религиозные течения и институты, закрыты от общества гораздо сильнее, чем средневековые феодалы. От того, что рыцарская пика заменена информационным оружием, социальная позиция субъекта не изменилась, разве что рыцарскую верность сменила корпоративная этика, а феодальное войско — частные армии, охранные службы и топ-менеджеры.

Требования равенства и братства — универсальная формула для борьбы с любой иерархией. Если индивид или группа находятся вне сложившейся иерархии — а таково первоначальное становление диаспор, — то математически оптимальным является требование равенства во всем, иными словами — включения чуждых групп сразу в разряд “римских патрициев”. По наличию подобной позиции в социальной идеологии можно сразу же диагностировать присутствие “диаспорной руки”. Обычно социальная иерархия имеет компенсаторный и функциональный характер, блага и ответственность распределяются взаимным образом, и покровительство сильного окупает издержки на его поддержание.

Диаспора сегодня — это уже полновесный продукт исторической эволюции человечества, особенно в условиях углубляющейся тенденции глобализации мирового сообщества. Неоспоримо ее влияние не только на мировую экономику, она оказывает серьезное культурное и идеологическое воздействие на национальное самосознание народа, из представителей которого она образована, а также на титульное государство, в условиях которого существует.

Несмотря на специфические условия, в которые поставлены диаспоры, они развиваются быстрее. Мигранты часто лишены элементарных благ и для достижения определенного социального статуса, причитающегося другим уже по рождению, им приходится прилагать гораздо больше усилий. Как гласит пословица: “Чужеземец должен быть золотом, чтобы сойти за серебро”. Но именно эти условия — необходимость трудиться интенсивней, чем представители коренных народов, быть динамичней и мобильней — очень быстро выдвигают их из среды непривилегированных мигрантов и во втором, в худшем случае — в третьем поколении делают их полноправными гражданами своей страны.

Именно благодаря этим качествам мигрантов США достигли таких поразительных технических и экономических успехов. Германия, Франция, Италия, арабские страны обязаны своими успехами именно диаспоральным массивам. Сложилось целое направление бизнеса — “охота за умами”, которое обусловило появление новых волн диаспоры и новых научно-технических групп в диаспоральных объединениях. В 90-е годы, после распада СССР, “новая кровь” компетентных мигрантов усилила ряд государств и диаспор, которые сумели этим воспользоваться.

Многие диаспоры добились двойного гражданства, а некоторые стали практическими проводниками влияния своей родины в странах пребывания. Типична ситуация, когда лидеры и активисты этнических сообществ лоббируют интересы представляемых ими групп в коридорах власти, проводят пиар-кампании в местных СМИ, делают общеполитические заявления. Некоторые из них постепенно входят в местный истеблишмент именно в качестве штатных национальных лидеров.

Задачи государственного управления в стране проживания, такие как: поддержание лояльности всего населения, проведение общей для всех регионов политики, неизбежно требуют унификации населения по определенным параметрам — культурным, религиозным, социальным и т.д. Сила и степень этой унификации влияет на интенсивность процессов ассимиляции, от которой диаспорам трудно отгородиться. Поэтому диаспоры активно участвуют в корректировке направления этой унификации, прививая ей этнокультурные черты. Откуда бы взялась никогда не существовавшая в природе советская культура, чуждая большинству народов СССР, если бы не было созданных ранее в иудействе образцов — киббуцев?

Многочисленные организационные формы активности диаспор развертываются между двумя полюсами — угрозой ассимиляции и опасностью полного замыкания в узком этнокультурном мирке. Само государство также избирательно относится к диаспорам, предоставляя одним статус наибольшего благоприятствования, а другим — черту оседлости. Так, в Европе или в США невозможно услышать что-либо позитивное в адрес русской диаспоры. В советском Азербайджане или Грузии упоминание об армянах в прессе или по телевидению прочно ассоциировалось с уголовной хроникой. Если сценаристы подобных подлостей (кстати, их немало и в сегодняшней Москве — повторяю, в Москве, а не в России) надеялись, что убогое пропагандистское воздействие отобьет у армянской молодежи охоту к собственной националь-

ной идентичности, то вышло ровно наоборот: у нас сжимались кулаки от гнева и несправедливости, и мы были готовы защищать любого армянина, будь он хоть трижды преступник. Десятилетиями сдерживаемый гнев вырвался наружу в национально-освободительном движении армян Карабаха.

Во многом отношение к диаспорам бывает связано с текущей политикой, с улучшением или ухудшением отношений с соответствующими странами. Но возможны и парадоксы. В период ухудшения отношений с Грузией на трудности пребывания в России стали жаловаться именно армяне (быть может, Запад через каналы воздействия в России таким образом давал понять администрации РА, еще противящейся турецким протоколам, о возможных мерах?). Грузинские же деятели искусства, наоборот, развернули в России феерию своих шоу-звезд, телевидение России стало рекламировать грузинские рестораны, а публичные персоны — вздыхать о своей любви к солнечной Грузии и т.п., что составляло вопиющий контраст с официальной политикой Кремля. Вот вам яркий пример раздвоения внешней политики государства на “национальные” и “диаспоральные” интересы.

Но как своеобразно ни складывались бы взаимоотношения между диаспорами и странами проживания, одно несомненно и должно быть зафиксировано как социологический закон: **интерес диаспоры состоит в поддержании стабильных и дружественных отношений страны происхождения с государством проживания.** И наоборот, диаспора против установления подобных отношений между страной проживания и государствами, враждебно настроенными к стране происхождения. Установка, необходимая диаспоре для обеспечения ее легитимности, — это курс на налаживание и укрепление отношений между государством проживания и родиной, превращение их в дружественные.

Многие аспекты внешней политики государств могут исходить из этой подоплеки, хотя в явном виде она упоминается редко. Обычно политики объясняют начало войн ссылками на нефтяной фактор, наличием оружия массового распространения, тоталитарностью режима (хотя трудно найти в истории более тоталитарный режим, чем действующий в США), территориальными или межрелигиозными конфликтами и пр. Однако в условиях, когда роль диаспор усиливается, именно их интересы начинают доминировать во внешней политике многих государств.

Отсюда понятен наш скепсис по отношению к столь важной для официальных документов формулировке “национальные ин-

тересы”. Разве не этими самыми интересами стран Запада вдохновлялись атаки на Ирак или Афганистан? А ранее национальным интересом Турции объяснялось уничтожение армян. В условиях глобализации, а порой и сплющивания наций и государств в блоки, альянсы или современные империи типа ЕС интерес культурного, духовного или научного развития той или иной нации становится исчезающе малой величиной — по крайней мере, в западно-ориентированном регионе. Когда идет дележ мирового богатства, много наций и государств оказываются лишними. Является ли это эволюционной судьбой человечества или худшим этапом его развития, покажет ближайшее будущее.

Переход к метаэтничности

Когда этнически единая диаспора не имеет реально существующей исторической родины или связи с ней затруднены, либо разрозненные фрагменты этноса разбросаны на обширных территориях многих государств, — в условиях объективной невозможности защиты ее интересов от давления государства единственным логически оправданным вариантом поведения для нее становится необходимость интернационализации собственных взглядов — превращения их в метаэтнические, “общечеловеческие” проблемы и представления своих проблем уже на других уровнях: на межгосударственном, международном, в формате всемирных организаций и правительств ведущих держав. Необходимость вырваться из узкого мирка национального государства подобна чувству водителя скоростной автомашины, когда на однополосном шоссе он вдруг видит впереди телегу с лошадьми, которую нельзя обогнать. Архаический правящий режим безжалостно кромсает и давит “скоростные” интеллектуальные и профессиональные способности, неприменимые в его хозяйстве и, к тому же, принадлежащие инородцам. Встает дилемма: или смести эту телегу к чертовой матери (то есть идти в революцию — что уже было), или строить скоростные автомагистрали, оставляющие эту архаику позади и внизу. Отсюда и возникает мощная идеологическая тенденция, развернувшаяся в современном мире в стратегию глобализации.

Процесс глобализации обнаруживает удивительный факт: диаспоры правят миром, устанавливают международные нормы, формируют правительства и государства и даже ставят задачи

создания мирового правительства. В широком смысле можно сказать, что последние полвека мировые процессы проходят при экономическом и даже идейном доминировании диаспор. Беспрецедентно высока их роль в экономической, этнокультурной, социальной, политической и даже геополитической сферах жизни. Многие современные идеологические и экономические доктрины являются плодом диаспорального менталитета, поэтому имеет смысл более детально с ним ознакомиться.

США являются классической страной диаспор, своеобразной этнической моделью мира, где в полной мере реализованы как преимущества, так и недостатки диаспорального существования. На всем протяжении существования этой страны в нее непрерывным потоком вливались иммигранты. В результате в США всегда существовали диаспоры, хотя нация была одна — американская. Иноэтничные иммигранты почти сразу входили в состав американской нации. США становились для них отечеством, причем единственным. Отечество же, которое они покинули, становилось для них просто родиной: для первого поколения — истинной, для последующих — родиной предков.

Но диаспоры при этом не исчезали. На смену, скажем, полностью ассимилировавшимся ирландцам приходили новые выходцы из Ирландии, и этот процесс повторялся снова и снова. Диаспоры непрерывно обновлялись, однако при этом продолжали существовать. Иммигранты, если ранее и не были англоязычными, довольно быстро переходили на этот язык и более медленно, но усваивали американскую культуру. Сложнее было с прежним этническим самосознанием. Оно долгое время продолжало сосуществовать с новым, американским национальным самосознанием. При утрате прежнего языка и прежней культуры оно в основном могло опираться на память о старой родине.

Американское общество всегда было политизированным. В нем всегда шла политическая борьба, в которую вовлекались широкие массы. Политики использовали все средства, чтобы заручиться поддержкой по возможности больших слоев населения. В Америке одним из способов вербовки сторонников стало использование диаспор. Политик, происходивший, скажем, из Ирландии, стремился мобилизовать в свою поддержку как собственно ирландскую диаспору, так и людей, которые давно стали американцами, но предки которых были выходцами из названной страны. В результате такой политик был крайне заинтересован не только в том, чтобы люди не забыли о своем ирландском происхождении, но и в том, чтобы возродить у них, хотя бы частично,

ирландское этническое самосознание. Так происходит постоянная мобилизация диаспор, превращение их в политическую силу.

Сегодняшние процессы глобализации принято связывать с основополагающими интересами США. Однако в большей степени эти процессы обусловлены диаспоральными интересами и являются экстраполяцией диаспорального мышления на мировую политику. Сами Соединенные Штаты используются в этой политике как инструмент, отчасти даже в ущерб их национально-государственным интересам. Об этом обстоятельно пишет бывший кандидат в президенты США П.Бьюкенен в книге “Смерть Запада”. По его мнению, от процессов глобализации Запад пострадал даже больше, чем страны восточного блока. Достаточно упомянуть всем известный фактор колонизации США Федеральной Резервной Системой, чья власть выше государственной, а интересы в мире более весомы, чем интересы американского народа. Где же собственно “национальные” интересы США? В этом плане население Штатов, по иронии истории, само очутилось в роли индейцев, некогда загнанных им в резервации, только теперешние резервации — духовного порядка.

На примере этой страны можно указать второе классическое бремя диаспор (первое бремя — противоречия с государством), которое вызывает нужду в их организации, — это их конкурентность, иногда доходящая до войны диаспор. Конкуренция и конфликты между диаспоральными общинами были и остаются не менее действенным “мотором” исторического процесса, чем социальные и религиозные противоречия и конфликты между государствами. Субъектом в этих конфликтах выступают не члены диаспоры — “автономные” от общины индивидуумы, которые, как это пытается представить либеральная идеология, преследуют свои личные интересы, а сама этническая диаспора. Исторический опыт показывает, что в этой конкуренции побеждают те общины, у которых больше сплоченности и готовности пожертвовать интересами членов общины ради достижения общей цели. В таких общинах индивидуальный, частный интерес подчинен интересу диаспоры как целого. Именно эта конкуренция заставляет диаспоры приобретать все признаки квазигосударств — политических организаций, ставящих целью защиту своих членов и усиление своего влияния на окружение, прежде всего — на государственную власть. Естественно, прочность и эффективность этих организаций зависит от множества факторов.

Сложный феномен диаспорального существования долгое время предавался забвению, что привело к своеобразной

“места” — он сам стал определять и регулировать политику, в том числе мировую, в своих интересах. Ярче всего это проявилось в освоении диаспорами наследия либеральной философии и идеологии и дальнейшем развитии их в нужном ключе. Сегодня эти идеи исправно служат диаспоральным интересам. Широко распространенные идеологии демократии, неолиберализма, рыночной экономики и т.д. представлены в политологии в формах, скорее позволяющих говорить о вариантах диаспоральной философии, нежели присущих интересам национальных государств. В каждом из этих теоретических элементов диаспора находила сокровенное выражение своих интересов, подавляемых титульным государством или инородной средой.

Можно сказать, что вся сегодняшняя мировая идеологическая палитра — плод диаспорального мышления. Это и рыночная экономика, позволяющая беспрепятственно осуществлять экономические трансакции, снимая барьеры между государствами и, одновременно, умаляя их роль как самостоятельных хозяйственных единиц. Это и демократия, в неразличимом арифметическом популизме которой представитель диаспоры получал шанс вклиниться в иерархию или в сложную кланово-родовую систему наследственной передачи власти либо, по крайней мере, беспрепятственно осуществлять лоббистскую деятельность. Это и всевозможные конвенции о приоритете прав человека над правом государства и нации, ограничивающие суверенитет национальных государств. Это, наконец, идеи глобального переустройства мира, создания мирового правительства, преодолевающего последствия “национальной раздробленности” диаспоры, убеждение в верховенстве международных законов и соглашений, признание приоритета резолюций ООН над законами и решениями, принятыми национальными законодательными институтами, и многое, многое другое.

Например, в 1975 году на совещании глав европейских государств, США и Канады в Хельсинки было подписано знаменитое Соглашение, в соответствии с которым все государства, его принявшие, обязались соблюдать права человека в той трактовке, в какой они изложены во Всеобщей Декларации прав человека. Этим актом легализировалось “превращение” проблемы прав человека **из внутригосударственной юридической и политической категории в межгосударственную и наднациональную**. А международным организациям, таким как ООН и ОБСЕ, придан статус **всемирных надгосударственных** структур, полу-

чивших легальное право вмешиваться в дела других государств под предлогом защиты прав человека.

Народам Европы сегодня уже навязали унифицированную конституцию, которая попирает суверенитет, провозглашаемый Основным Законом большинства европейских государств. Лиссабонский договор усиливает антидемократический и антисоциальный характер Евросоюза, передавая почти все права национальных государств, включая право на объявление войны, органам ЕС и регламентируя чуть ли не все сферы жизни европейцев.

Именно диаспоры наиболее активны в пропаганде “универсалистских” либеральных идей, таких как свобода образования политических партий, приоритет свободы слова и собраний, а также интересов индивидуума над интересами общественными и даже национальными.

Рыночная экономика дает возможность диаспоре одержать верх над главным соперником — титульным государством, и открыть политические шлюзы для формирования олигархических государств. Неoliberalизм снижает планку общественной морали и освобождает общество от оков нравственности, подчиняя все “свободе” спроса, удовлетворяемого любым способом. В этой модели, отдающей приоритет свободе частного индивида перед общественным интересом и даже государственным контролем, диаспора нашла идеальную схему для реализации своих целей, не учитывавшихся государством. В то же время пример успешных преобразований Китая, обязанных помощи диаспоры, убедительно доказывает, что рыночный неоиндустриальный проект можно строить и на иных политических структурах, не обязательно предполагающих стандартный пакет из приватизации, демократии, прав человека и т.д.

Импульсом к повышенной активности диаспор являются огрехи государств. Умаление, пренебрежение, а то и подавление интересов этнических диаспор вызывает мощную реакцию консолидации, пробуждает в них стремление к сознательной самоорганизации, плодом которой оказывается структура, во многом параллельная государству страны проживания. Именно на этом поле противодействия давлению государства возникли и окрепли экономические и идеологические рычаги “возмездия” диаспор. Мировой финансовый кризис можно считать осуществившейся мстью диаспор. Достаточно сказать, что в результате кризиса крупнейшие американские банки перегруппировались в горстку сверхкрупных. Финансовое могущество в США никогда прежде не достигало такой степени концентрации. Если в 1990 году де-

сятка крупнейших финансовых учреждений США владела 10 процентами финансовых активов страны, то в 2008 году этот показатель достиг 50 процентов. Более того, триллионные вливания из государственного бюджета США в частные банки продемонстрировали всему миру триумф диаспоральной философии и постыдное поражение государства, причем самого сильного на планете. Робкие возражения населения США и жалобы на то, что заработанное им состояние отдается банкам, никакого эффекта не возымели. Барак Обама поставлен свято стоять на страже интересов хозяина, ФРС. И прежде всего — поддерживать долларovou мистификацию. Ведь для того, чтобы валютная система, основанная на банковском кредите и без покрытия золотом, вообще функционировала, дефицит денег надлежит вызывать искусственно и систематически его поддерживать. В этом одна из причин того, почему сегодняшняя валютная система не является саморегулируемой и нуждается в активных центральных банках, заботящихся о дефиците. Можно даже сказать, что центральные банки соревнуются между собой в том, чтобы сделать свою валюту на мировых рынках по возможности более дефицитной. Посредством дефицита удерживается её относительная стоимость. А затем начинается знакомая нам по советскому периоду очередь за дефицитом и записки к директору магазина. А те, кто не из этой диаспоры, выпадают в осадок — то бишь в банкротство.

Но в мире появилась достаточно мощная оппозиция такому порядку. Китайская диаспора тоже не лыком шита. Она обучена в США, догадывается о тонкостях финансовых удушений и искусственной цене доллара и намерена заставить ФРС играть по его же собственным правилам. Теперь уже обвинения в протекционизме сыплются на США. Государственная политика Китая обеспечивает тылы этой диаспоре, и при возможной поддержке ряда стран может начаться трансформация мира к иному порядку.

Диаспоры – мосты между странами

Есть такой социальный парадокс. Хозяин дела ставит руководителем работника компетентного, но не настолько, чтобы перехитрить хозяина. Менеджер должен осуществлять интересы хозяина и поменьше сомневаться в его праве. По мере усложнения бизнеса приходится искать все более компетентных работников, однако по-прежнему исполнительных. И с какого-то момента исполнительность и компетентность входят в противоречие. Современ-

менная индустрия, особенно информационно насыщенная, требует сверхкомпетентных, а значит, самостоятельно мыслящих работников. Но это противоречит интересам хозяина, поскольку он теряет возможность контролировать то, что выше его разума. Тогда он выбирает стратегию деградации окружения, чтобы затормозить естественный процесс усложнения человеческого бытия. Именно на этой стадии мирового процесса мы и находимся, что вселяет надежду на скорое ее окончание, ибо эволюционные процессы развития невозможно остановить. Травинка прорастает, даже закатанная в асфальт. Главное сейчас — не делать резких движений, не обгонять процесс, не менять ничего из завоеванного. Самое опасное — оказаться под агонизирующим старым миром. Его импульс — загнать в гроб, в войну, в кровь все что еще движется, что выделяется на сером фоне зомбированного населения. Подталкивание нас к Турции — из той же серии. Если даже Запад не может контролировать армян, то пусть этим займется их вековечный враг, ему сподручнее, опыт уже есть. А потом можно все свалить на варварство турок.

Однако в мире уже видны ростки посткризисного порядка. Это, прежде всего, осуждение и даже судебные преследования деятелей и главных заправил уходящего мира — Берлускони в Италии, Ольмерта в Израиле, Блэра в Англии, Буша в США — и рост внутренних протестов в странах Запада. Второе — это освобождение от химеры неолиберализма и попытки государственного укрепления национальных экономик, протекционизма и ведения международных расчетов на основе собственных валют, например, рубля и юаня. В третьих, диаспоры начинают опираться на иные элементы, которые оставались за бортом их идеологий. Эти их элементы позволяют предложить новую диаспоральную философию и идеологию, совмещающую и даже примиряющую в некотором отношении государство и диаспору. Каковы контуры новой диаспоральной философии, которую можно считать классическим синтезом, завершением триады: интерес государства — интерес диаспоры — **взаимный интерес?**

Помимо конкурентных отношений с государством и другими существующими в нем диаспорами имеется ряд факторов, способных сделать диаспоры локомотивами солидаризма и созидательности в мировом масштабе. Этот потенциал может развиваться не только по линии укрепления связей между государством страны проживания и исторической родиной, но и в умножении и расширении социального капитала по всему миру — поддержания множества личных и общественных связей, дружбы

и прочного сотрудничества, доверия и взаимопонимания между нациями и народами. Все цветные революции осуществляются путем разрушения социальных связей. Диаспоральная народная дипломатия может воспрепятствовать подрывным действиям, держа руку на пульсе всего мира через свои разветвленные информационные каналы. Посткризисная эпоха выдвигает перед человечеством новые задачи коллективного самосохранения, и первой из них — улучшение взаимоотношений между народами, снятие враждебности между государствами, устранение опасности мировой войны. Диаспоры, осознавшие свою прогрессивную роль в сложившихся условиях, становятся проводником новой идеологии, отвечающей взаимному интересу диаспор и государств, теперь нуждающихся друг в друге. Каковы элементы этого нового мировоззрения?

Находящийся в тисках кризиса мир нуждается в созидательном мировом порядке. Века неисчислимых страданий и разрушений должны были, наконец, привести человека к пониманию созидательности как наиболее важной установки человеческой культуры. Целью мировых и глобальных институтов постепенно должна стать поддержка и защита созидательной деятельности, формирование атмосферы недопустимости разрушения природы и замечательных творений человека. В древних цивилизациях эта установка являлась сердцевинной всей философии и религии: жизнь любого существа свята и имеет значение для космоса.

Бездумным войнам, не имеющим ни цели, ни разумных причин и вызываемым пресловутой политикой “разделяй и властвуй”, должен быть положен международно-правовой предел. Основа приемлемого поведения — лозунг “Объединяй и процветай”. Эволюция человечества неуклонно движется в этом направлении, и несмотря на тысячи лет, отделяющие нас от тех, кто провозгласил святость человеческой личности, мы, тем не менее, снова приходим к этим принципам. Пора осознать их как общечеловеческое достояние и сделать выводы относительно ушедшего XX века. Средневековье не знало такой жестокости, злобы и кровавой бойни, какую продемонстрировало в XX веке опьяненное богатством и корыстью “цивилизованное” человечество.

Народы и правительства мира должны ввести в законодательную практику недопущение деструктивной, антисоциальной деятельности лиц или социальных и национальных образований, пытающихся вернуть человечество в эпоху варварства. Но что понимать под антисоциальной деятельностью?

Всем понятно, что такое антитехническое поведение: это разрушение технических конструкций, домов, мостов, линий электропередач, трубопроводов и т.д. без их запланированного улучшения. Грубо говоря, это разрушение технической среды. Но мало людей задумываются об антисоциальном поведении как о разрушении социальной среды, порождающем искусственные конфликты, сеющим раздор и вражду, нарушающем, а то и пренебрегающем социальными нормами и правилами, относящимися не к уголовной, а к морально-нравственной ответственности. Именно антисоциальное поведение есть корень зла XX века, в том числе и сегодняшнего финансового кризиса. Вырвать с корнем почву антисоциальности — значит обнажить политические мотивы до реальной прозрачности, поднять человечество до высот созидательного поведения и подлинной демократии.

Созидательность предполагает постоянное усложнение последующих фаз развития, ускоренное развертывание научных, космических, микробиологических и иных технологий в согласии с интересами всего человечества, а не отдельных его групп. Более того, без общего для всего человечества созидательного и солидарного проекта невозможно говорить о его будущем. А государство с подорванной способностью к проектированию будущего обладает резко ослабленной легитимностью. Власть в нем легко свергается при помощи спектакля, построенного по канонам возбуждения толпы с привлечением уголовных элементов и отрицанием любой созидательности. Но результаты такого спектакля приводят к изменениям социального порядка, вплоть до полного изъятия у населения прав на легитимацию власти и на определение своего цивилизационного вектора. Функция проектирования будущего, ранее всего лишь подавленная, теперь попросту изымается, а порядок и идеология ему задаются извне.

Выработка “проекта будущего” и выход из нынешнего кризиса будут происходить по мере новой “сборки”, совмещения интересов государств и диаспор, на основе восстановления и синтеза культурного и мировоззренческого ядра каждой из сторон с преемственностью исторического цивилизационного пути. Для этого необходимо принципиальное обновление политической системы государств. Частью обновления должно быть появление организационных форм, построенных по цивилизационному принципу и опирающихся на различные вариации созидательности и солидарности как центральных понятий любой общественно-политической деятельности. Новая философия переносит акценты с конкуренции между диаспорами и борьбы против госу-

дарства на их более важные функции в сегодняшнем мировом пространстве — диаспоры как мосты между народами, как среда более интенсивного труда, как каналы распространения информации, экономических и интеллектуальных обменов, как сфера проявления солидарности.

Солидаризм как общеинтеграционная философия

Общеинтеграционная философия, как поле новых взаимоотношений между диаспорами и государствами, должна стать “архитектором” особой атмосферы, особого духа взаимодействия в мировом сообществе. Его целью должно быть принятие и признание другого человека независимо от его материального и иного положения. Подобный подход глубоко соответствует армянскому цивилизационному наследию.

Отношения солидарности выражаются в уступках, компромиссах, согласованиях, совершаемых не в интересах одной из сторон, а для взаимной пользы. Всякая уступка, всякий компромисс основаны здесь на сознании, что подчинение личного блага общему приносит общественные выгоды. На этой почве вырастает психология соподчинения, или солидарности.

Солидаризм не навязывает диаспоре целей, которые чужды ей, и не приносит индивидуальные интересы в жертву “общему благу”, если только это не вознаграждается выгодами для участников солидарной группы. С другой стороны, сознание того, что индивид не в силах реализовать свои интересы без поддержки общества и государства, заставляет его подчиняться тем требованиям общественного порядка, без соблюдения которых он оказался бы беспомощным в борьбе за существование.

Нормы взаимоотношений между диаспорой и государством устанавливаются как результат соглашения двух правовых субъектов при максимальном соответствии содержательным целям и задачам сторон.

Солидаризм сохраняет собственность, конкуренцию и свободу предпринимательской деятельности. Солидаристическое хозяйство вносит организующее начало не подчинением принудительному плану, выработанному в центре, а содействием в сфере однородных интересов, путем сотрудничества, взаимопомощи и взаимосогласования.

Поскольку солидаризм возлагает на государство важные посреднические функции, требующие высокого авторитета власти и широких полномочий в отношении согласования противоречивых интересов, государственная власть должна обладать устойчивостью. Построенное на началах солидаризма государство должно быть проникнуто общественным духом. Государство должно не только содействовать, но и **поощрять объединения граждан, имеющих общие интересы**, и обеспечивать им авторитетное представительство их интересов перед государственной властью.

Солидаристическое государство создает свой особый тип. Его особенность — иерархия солидаристически построенных общественных организаций, которые, охватывая по возможности все население и представляя его интересы в параллельно сосуществующих организациях, стремятся не к поглощению одних другими или к пресловутому “объединению”, но к согласованному сотрудничеству в государстве как высшем единстве.

Согласованность предполагает самодеятельность тех, чье поведение координируется с интересами государства и не противоречит им. Государство не выдвигает свою волю как какое-то особое, верховное волеизъявление, не считающееся с волей граждан. Солидаризация осуществляется при наличии если не противоположных, то, во всяком случае, разнородных групп и течений, за каждым из которых признается право на существование.

Общая воля рождается из стремлений и задач самостоятельных участников государственной жизни, а не навязывается им сверху. Организовывать не значит регламентировать, это означает находить **сбалансированные, равновесные**, иногда единственно возможные решения, удовлетворяющие всех участников. Организатор берет на себя функцию природной эволюции, ускоряя движение к более прогрессивным формам взаимодействия. Поэтому солидаристическое государство не стесняет предпринимательства, не принимает на себя осуществления хозяйственных задач и, устанавливая некоторые пределы свободы, обеспечивает эту свободу в установленных им пределах: оно только контролирует, а не управляет. Вмешательство его в действия хозяйствующих органов строго ограничено: оно допускается либо в случае расхождения частных интересов с интересами государства, либо в случае такого конфликта между интересами отдельных производительных групп, который они не могут разрешить собственными силами. Солидаризм отрицает как пассив-

ность либерального государства, так и самоуверенную претенциозность государства социалистического.

Солидаристическое государство, примиряя интересы противоположных классов и групп, ограждает интересы более слабых не с целью перераспределения материальных средств, а во имя сохранения социального мира. **Именно такой тип государственного устройства и общественных институтов примиряет интересы государства и диаспоры и обеспечивает плодотворное их сотрудничество на благо целого.**

Диаспоры, традиционно обладающие опытом и дипломатическим тактом международного общения, играющие роль проводников в процессах обмена идеями и информацией, смогут сыграть ведущую роль и в этих процессах при условии нового синтеза идей, преодолевающих радикализм прежней позиции. Очень широкие перспективы и заманчивые возможности открываются и перед армянской диаспорой, в полной мере обладающей качествами, необходимыми для посткризисного мира. Контуры новой диаспоральной философии возникают в результате синтеза интересов, завершающего триаду: интерес государства — интерес диаспоры — взаимный интерес. Его осуществлению и одновременно оздоровлению мировой ситуации будет способствовать курс на налаживание, укрепление и превращение в дружественные отношений между государством проживания и исторической родиной.



Нелли Саакян

“В ХОРОССАНЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ДВЕРИ...”

Обращение Есенина к поэтическому Востоку — свидетельство зрелости кануна тридцатилетия. Остановиться, оглянуться, поучиться у собратьев по самозабвенному пению, в каком бы веке и в каком бы уголке земли они ни жили, — душа тридцатилетнего поэта была готова к такой широте охвата. Пытливость, темперамент горения, жажда всегда и всему учиться — одни из самых восхитительных черт любой творческой личности. Стойкий интерес к расширению внутреннего мира и, в ответ на эту внутреннюю работу, выполняемую со страстью, с удовольствием, — рой замыслов, вечное возникновение нового, генерация идей, счастливые творческие озарения. Ни один гений или большой талант не были никогда ленивцами. “Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поэт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза” (письмо Галине Бениславской).

Учиться — это главное. Но не только учиться — еще и отдохнуть душой. Давайте посмотрим, что непосредственно предшествовало в жизни Есенина созданию “Персидских мотивов”. Стихи позволяют прочитывать жизнь поэта столь же точно, как и самая искренняя исповедь. “Персидским мотивам” предшествовали циклы “Любовь хулигана”, “Стихи скандалиста”. Нервные, неровные, раздерганные ритмы. Муть “кабацких” дней, тупики жизни, хождение по мукам. Меж тем душа любого поэта ищет гармонии и выходит из любого тупика очищенной и чистой. Вверх, только вверх, как огонь, — вот ее вечное устремление. Надолго приковать ее внимание прах не может. Ведь поэт — дитя горних сфер. И эта очистительная струя не могла не привести Есенина к великому просветленному источнику — к целомудренному Востоку, высокой этической красоте, благородной сдержанности и мягкой, певучей мудрости. Все терзания, вся душевная разорван-

ность успокаивались в этой купели. “Персидские мотивы” прямо так и начинаются, со строк, волшебство которых заставляет обращаться к ним снова и снова:

*Улеглась моя былая рана –
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.*

Особенно магически, почти как заклинание, смысл которого утерян и неясен, а оттого особенно волнует, звучит это протяжное — “синими цветами Тегерана”. Почему именно синими? Но кто и когда из творцов ответил на вопрос, как создаются музыка и поэзия?

Впрочем, это, возможно, отзвук “голубого цветка” у Блока: “И любой колени склонит пред тобой. И любой цветок уронит голубой”. Генеалогию же “голубого цветка” следует искать у Новалиса. Но вспомним и “к синим берегам Персии”, “синее чудо Персии”, “голубые призраки гор Персии” Хлебникова. И в то же время голубое и синее — любимая цветовая гамма и самого Есенина. Вглядитесь внимательно в его стихи: синее и голубое неизменно всплывало в строках о детстве, о матери, о деревне, в думах о Персии, когда особенно глубоко дышало “нежностью пропитанное слово”.

Но Есенин не был бы Есениным, если бы и на юге не думал о России:

*Тихо розы бегут по полям,
Сердцу снится страна другая...*

Фонтаны били на ханской даче в Мардакянах близ Баку, а у Есенина “не выходило из головы и сердца родное, рязанское”. И в Батуми кроме части цикла “Персидские мотивы”, “у самого берега бушующего моря, когда на его глазах волны как щепками играли океанскими кораблями, Есенин писал “Анну Снегину” с тихими рязанскими пейзажами”.

Да, “сердцу снится страна другая...”. Эти строки, а также “там, на севере, девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может, думает обо мне, Шаганэ ты моя, Шаганэ!..”, как бы вторили через век знаменитым пушкинским:

Не пой, красавица, при мне

*Ты песен Грузии печальной.
Напоминают мне оне
Иную жизнь и берег дальный.*

Как в клубке смешалось для Есенина всё: не только хлебниковская Персия и сами персидские лирики, но и “южный” Пушкин и даже, возможно, и Блок с его благоговейными переводами из Аветика Исаакяна. Блок, перед которым Есенин преклонялся с юности.

Итак, “Персидские мотивы” писались после “кабацких дней”. Но также и после поездок Есенина на Запад. Очень знаменательно, что он обратил свой взор к Востоку именно после Запада. Запад не вызвал у него трепета, предшествовавшего творчеству. “Железный Миргород” наводил скуку. Но Восток с его могучими могилами будил живое воображение поэта. Здесь он отходил душой. Позади был утомительный и шумный брак с Айседорой Дункан, горечь от уходящего попусту времени. Менялись страны и города, лица, гостиницы и гостиные, неизменным оставалось только одно — скудость досуга, редкие урывки для работы. Разрослась ностальгия, знаменитая есенинская ностальгия, которая даже в столичных городах России не давала проходу его сердцу. А что говорить о чужом мире Германии или Америки. Повенчать Есенина с нерусским было невозможно. Его душа отвергала все искусственные прививки, и лишь к одному чуждому миру он вышел с радостно распростертой душой — к издавна любимому миру Востока. И песнь его, ни разу не послужившая Западу, вдруг полилась легко и обильно, а Россия в тот миг охотно “посторонилась и дала дорогу иному народу и государству”. Родился бессмертный цикл, и после долгой горечи и оглушительной, но однообразной богемы Есенин вновь вернулся в начальное лоно целомудрия и чистоты. Разочарование в Западе привело его к вратам Востока. По воспоминаниям Вержбицкого, Есенина “...утомляла однобокость европейской цивилизации, а захолустный Тавриз воспринимался им, даже на расстоянии, — глубже, чем Нью-Йорк...”

Но даже здесь, отдав часть своего сердца желанной Персии, поэт не забыл произнести под конец как заклинание, как зарок: “Мне пора обратно ехать в Русь”, “Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий”. Ибо это был очень русский, очень национальный поэт, с материнской пуповиной столь крепкой, что ее и целой жизни не удалось перерезать. Так, должно

быть, когда-то и Саади стремился в родной Шираз, а Рудаки — в родной Рудак.

Кстати, из Шираза был родом не только Саади, но и его не менее гениальный ученик Хафиз. Шираз! Центр древнейшего Загроса (западный горный Иран), который в Иране был таким же “поставщиком” всего великого, как, скажем, Флоренция в Италии и Шотландия и Ирландия в Великобритании. И даже более значительным поставщиком, учитывая особую древность этих мест.

В Баку Есенин самозабвенно слушал стихи Фирдоуси и Саади на языке фарси. Поэт сам просил одного бакинского книголюба (между прочим, армянина, но это, конечно, не суть важно) читать ему эти стихи на языке оригинала. Язык оригинала! Это было великое погружение. Один из самых певучих и богатейших языков мира, одна из самых древнейших индоевропейских веточек. Что мог сделать здесь перевод? Но, значит, даже перевод мог что-то сделать, раз Есенин не хотел расставаться с книгой “Персидские лирики”, изданной в 1916 году и принадлежавшей Вержбицкому. Поэт так зачитался этой книгой, что не хотел возвращать ее владельцу. Мастер знает цену мастеру.

Но какими бы ни были русские переводы персидских лириков, стихия первоисточника, в которую погружал Есенина бакинский книголюб, — это было, конечно, ни с чем не сравнимое наслаждение. Тот же книголюб показал поэту и знаменитые иранские книжные миниатюры в старинной рукописи “Шахнаме” Фирдоуси. К счастью, миниатюры не нуждаются в переводе, тем более такие. Те, которые видел Есенин в Баку, были подлинниками. Поклонимся же бакинскому книголюбу, ибо показать и сообщить что-то бесценное гениальному поэту значит сделать это бесценное достоянием всего человечества. Не скупитесь приобщать людей с воображением к духовным богатствам — вам зачтется. Эхо такого деяния возвратится стократно обогащенным.

Я вглядываюсь в нежные иранские книжные миниатюры. Поразительный вкус. Если стихи великих персидских лириков средневековья — изделия мастеров такого же ранга (а стихи, видимо, чеканились мастерами еще более гениальными, чем миниатюристы), то можно понять пристрастие всего мира к поэтам Ирана. И страсть Есенина становится особенно понятной. А также увлечение Востоком Гете. Персидская миниатюра и персидский ковер — какая спрессованность вкуса, шлифованного тысячами! Эх, жаль все-таки, что Есенина не пустили в Иран. Известный немецкий путешественник Карстен Нибур пишет, что тонов такого прекрасного мрамора, как в Персеполе, он никогда не видел в Евро-

пе. Рембрандт повторил то же самое относительно персидских и кавказских ковров, живописцы — относительно персидской книжной миниатюры, а поэты — о созвездии иранских средневековых лириков. Ницше сказал то же самое о Заратустре (Зардоште).

Отчего же Есенина не пустили в Иран? Киров, прослушав первые стихи персидского цикла в исполнении самого Есенина, сказал Чагину, тогдашнему редактору газеты “Бакинский рабочий” и близкому другу поэта: “Смотри как написал, как будто был в Персии. В Персию мы его не пустим, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай ее. Чего не хватит — довообразит. Он же поэт. Да какой!”

Чагин и создал иллюзию Персии на одной из бакинских дач, в прошлом принадлежавшей богатому хану. Субтропический сад с фонтанами, бассейнами, беседками, коврами, клумбами, — по словам Чагина, получилась “ни дать ни взять Персия”. В этом саду Есенин и дописывал цикл. Дописывал. Начало же “Персидских мотивов” возникло еще до ханского сада. Жизнь, как всегда, запаздывала, не попевала за воображением поэта. А воображение рисовало Есенину не одну только Персию. Вместе с Ширазом, Хороссаном, Тегераном возникали Евфрат, Багдад, Босфор. Это было тяготение к миру Востока вообще. Философская лирика восточных поэтов, которой нет старения, — вот что его привлекало. Вечный магнит. “Горстью драгоценных камней из великих россыпей Востока” назвал стихи персов Виктор Гюго. А ведь он вникал в эту поэзию всего лишь по подстрочникам. Вот как надо писать — чтобы даже подстрочники пронзали. “Персы оставили миру перлы лирической поэзии. Им известна была тайна создания поэтической ткани на века”, — писали исследователи. И удивительно ли, что секреты этой тайны жадно хотели раскрыть лучшие поэты Европы за последние двести лет. Гете в 1819 году издал поэтический цикл “Западно-Восточный Диван”, подготовленный им вскоре после выхода в свет на немецком языке полного “Дивана” Хафиза. Именно после этого гетевского цикла Хафиз стал всемирно известным поэтом. Пушкину хорошо были “Гафиза и Саади... знакомы имена”. “Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал” (“Евгений Онегин”). Гюго создал сборник “Восточные мотивы”. Лермонтов написал “Три пальмы” (восточное сказание) и “Демона”. Русланом русских народных сказок и быллин стал пришедший в Россию герой Фирдоуси Рустам. Вольно перелагал Хафиза Афанасий Фет. Брюсов, Вячеслав Иванов,

Хлебников — все припадали к Персии. А Блок с его “Соловьиным садом”!

Именно вслед за Хлебниковым Есенин устремился Персию. Этот пример, надо полагать, подействовал на него особенно. Хлебников вообще пророчески пролагал пути для поэтов. В 1921 году Велимир Хлебников провел несколько месяцев в Иране, куда попал из Баку с частями Красной Армии. Стремление Хлебникова к “желтому руслу Ирана” было столь велико, что о его поездке рассказывают следующее: “Уже очень близко от входа в порт Энзели, там, где капитан русского корабля сдает управление персидскому лоцману и при этом, естественно, происходит некоторая задержка, Хлебников, горя нетерпением скорее ступить на легендарную персидскую землю, каким-то способом спустился с парохода и по воде в одежде добрался до берега”. Вот что могут сделать поэты, умершие много столетий назад. Хочется невольно еще раз воскликнуть: вот как надо писать, а иначе писать не стоит. “Надо иль молчать, иль говорить велико” (Ницше). Сам Ницше припадал к “Авесте” в своем знаменитом “Так говорил Заратустра”. А что такое “Авеста”? Это исток всех великих лириков Ирана. Значит, прав был Руми в своей эпитафии: “Когда мы умрем, не ищите нашей могилы в земле, ищите ее в сердцах людей”.

Ориентализм стал мощным движением в странах Европы, в Америке и в России. Персидская поэзия переняла афористичность у стел, какие ставились с глубокой древности на всех азийских дорогах, а также у надписей и изречений на скалах. “Я шел по пути, прямому, как копье”, — приказал высечь в знаменитой надписи на Бехистунской, правильнее на Багастанской, скале (Бага — Бог) обладавший несомненными достоинствами Дарий I. Великие персидские лирики шли по еще более краткому пути, впадающему прямо в сердце, почему Иран и называли Меккой классический восточной поэзии. “Персы из всех своих поэтов за пять столетий признали только семерых, а ведь и среди прочих, забракованных ими, многие будут почище меня”, — писал Гете. Что сказать об этих смиренных словах? Положа руку на сердце приходится признать, что если и есть здесь доля преувеличения, то очень небольшая. Скажем, такие великие поэты XI века, как Фаррохи и Баба Тахир, даже не значатся в этой семерице. Между тем каждый из них уж никак не меньше, чем, скажем, Байрон или Шиллер. Но когда первый ряд сверкает именами Рудаки, Фирдоуси, Саади, Хайяма, Хафиза, Руми, Джами и Низами (давайте раз и навсегда усвоим, что Низами не азербайджанский

поэт, а великий перс) — куда уж тем, кто просто необыкновенно талантлив, чей талант огромен, но до гения все же не дорастает.

Художник Геворг Григорян (Джотто) вспоминает: “Приезжая в Тифлис, Есенин жил на Коджорской улице, у своего приятеля журналиста Вержбицкого. Как и в Москве, его окружала веселая пишущая ватага. Говорят, ему сразу понравилось название кружка молодых тифлисских поэтов — “Голубые роги”. И он крепко подружился с Паоло Яшвили, с Тицианом Табидзе”.

Баку, Тифлис, Батуми. Бдения на Коджорской улице (тогда она называлась Ходжорской). “Голубые роги”. Родина Фирдоуси была отсюда в двух шагах. Она лежала за несколькими горными хребтами и перевалами в тусклом червонном недалеке. “Свет вечерний шафранного края” манил и тревожил душу Есенина. Почему шафранного? Вспомните “желтое русло Ирана” Хлебникова. У самого же Хлебникова это несомненная ассоциация с цветом песков пустыни. Даже одна только мысль о стране “Гулистана” (правильнее все же “Гулистана”) давала мощный толчок воображению Есенина. После Баку и Тифлиса в декабре 1924 года он приехал в Батуми, чтобы поскорее попасть любым путем — морем или сушей безразлично — в желанную голубую даль Хороссана и Шираза. Ну или хотя бы на Босфор (хотя отчего же Босфор, ведь персидские лирики жили не в Турции, а в Иране? Но географическая путаница вроде бы простительна литературе).

Однако в Батуми поэту пришлось задержаться. И все по той же причине. Грустно вглядывался он в смутную морскую даль, бродил по опустевшей зимней набережной, а в голове уже складывались стихи о таинственной и незнакомой Лале, которую породило его тоскующее воображение. Батум подарил Есенину один из главных шедевров цикла “Персидские мотивы” — стихотворение “Шаганэ ты моя, Шаганэ!..” Впрочем, Батум, видимо, “виноват” в создании шедевра в той же мере, в какой Баку и Тифлис — в создании всего остального: основным “виновником” был душевный порыв самого поэта, его жажда попасть в Персию, его упреждающее воображение.

Однако тоска мало-помалу сглаживалась: разноязычный говор батумской толпы был все же отголоском того самого Востока, к которому поэт так стремился. И вот когда первые два стихотворения цикла были написаны и даже напечатаны в местной газете, в одно из тех поистине “чудных мгновений”, которые выпадают на долю великим поэтам, Есенин встретил прелестное юное существо, намного превосходившее созданный его фантазией образ персиянки Лалы. Удивительная чистота черт, лицо, “похожее

на зарю”, особая восточная притягательность темного взора настолько взволновали поэта, что одно из лучших стихотворений цикла было написано почти мгновенно. Необыкновенно легко ложилась на бумагу строка за строкой. Прекрасной “персиянке” было посвящено не одно стихотворение цикла, и среди них самое пронзительное, более похожее на музыку, чем на стихи, — “Шаганэ ты моя, Шаганэ!..”

Светлые строки “Персидских мотивов” знают и любят все. Они положены на музыку (впрочем, весь Есенин положен на музыку). У них счастливая живучесть молитвы или гимна. Они падут не раньше, чем падет государство Поэзия. Человечество чтит не только своих гениев, но и прекрасных вдохновительниц гениев, и к дорогим нам именам Лауры, Беатриче, Лотхен, Амалии Ризнич, Анны Керн, Любви Менделеевой мы вправе прибавить и имя Шаганэ. Шаганэ Нерсесовны Тальян.

Настоящее ее имя Шаандухт. Нелегко выговорить это древнее армянское женское имя, и потому друзья (тем более, что среда была интернациональная) звали ее Шаганэ или даже просто Ша́га. Оба эти сокращения мы найдем в стихах Есенина. Недолгие недели встреч в декабре 1924 года и навсегда пропавший след поэта в феврале 1925 года. Автограф на книге и стихи, переписанные знакомым всем круглым, почти детским почерком, — вот и все, что осталось у Шаганэ Нерсесовны Тальян от этих коротких встреч.

Это была стройная шатенка, гибкая и совсем юная. Она преподавала в батумской армянской школе. Ей было 25 лет, и незадолго до встречи с Есениным она овдовела. Возвращаясь как-то после занятий, она заметила у дверей школы незнакомого молодого человека. Сразу бросилась в глаза особая столичная элегантность незнакомца: прекрасно сшитый костюм, мягкая шляпа, летнее серое пальто, небрежно переброшенное через руку. Русоволосый незнакомец молча шел за ней до самого ее дома, но тревожить назойливыми вопросами не стал. Недолго постояв на углу, он медленно пошел назад. Вечером того же дня местный журналист Л.О.Повицкий пришел с Есениным к соседке Шаганэ Елизавете Васильевне Йоффе и сказал, что поэт хочет познакомиться с Шаганэ.

На следующий день Есенин опять ждал Шаганэ на том же углу, что и накануне. Они медленно пошли по бульвару. Незадолго до этого прошел циклон, и море недобро шумело у берегов. “На море шторм, — сказал Есенин, как бы продолжая прерванный

разговор, — я не люблю такой погоды. Лучше почитаю вам стихи”. Ей выпало счастье первой услышать это певучее “Шаганэ ты моя, Шаганэ...”, эту жемчужину цикла. В тот же вечер поэт подарил ей автограф этого стихотворения: два листка из тетради в клетку.

В тот день не стало придуманной Лалы, а родилась живая и прекрасная Шаганэ, и для Есенина наступил необычайно плодотворный период. Вечерами он встречался с Шаганэ и всегда приходил с цветами, чаще всего с фиалками. Работать любил на рассвете и при этом не терпел постороннего глаза.

Отзвуки гнетущего настроения появлялись у него и в этот период, но он тогда еще умел подавлять их видом чистых пространств воды и неба, целебностью отношений с Шаганэ, близостью любимой Персии. И, главное, творчеством, новым подъемом духа, благотворным влиянием осени и тепла, всем приподнятым душевным строем, характерным для него в это любимое время года. Пушкинские бодрость и свобода владели им осенью. А в своем отношении к женщине Есенин шел в “Персидских мотивах” вослед за Востоком, чуждым низменной плотской разнужданности и очень сдержанным в описании безумной любовной страсти. Стихи возвышенны и прозрачны, как горный родник. Ориентализм Есенина шел от сердца, и потому стихи персидского цикла не стали чужеродными в его поэзии. Восточная древность прошла через его чуткую душу, а что и когда, пройдя через сердце гениального поэта, не давало прекрасных всходов!

В те недолгие недели пребывания в Батуми Есенин каждый день приходил к школе, ждал Шаганэ, и они вместе шли на бульвар. Он любил эти тихие прогулки с юной женщиной, вносящей в его больную душу мир и покой. Охотно читал ей стихи, свои и чужие, и долго не хотел уходить от моря, полюбив эту успокоительную даль. И, кто знает, может быть, именно в такие минуты родилось в его душе прощальное: “До свиданья, пери, до свиданья...”, повторенное позже в знаменитом последнем стихотворении: “До свиданья, друг мой, до свиданья...”.

Вечерами под тусклым желтоватым светом несильного электричества Есенин казался почти мальчиком. Легкое вечернее возбуждение делало его подвижным и молодежавым. И лишь по утрам, в беспощадном естественном свете, заметна была усталость, тенями ложившаяся на его прекрасное лицо. Писал он, как всегда, незаметно для окружающих, создавая тем самым ложное впечатление легкости поэтического ремесла. А потом

протягивал Шаганэ листок с круглым почерком, где каждая буква напоминала широко раскрытые детские глаза, удивленно глядящие на мир. Он и был большим утомленным ребенком, как все поэты, так и не успевшим повзрослеть. Таким и воспринимала его Шаганэ, и потому у них с самого начала установились единственно верные в данной ситуации отношения — отношения нежной дружбы и трогательной привязанности. И потом, многие женщины, насколько ни были бы они моложе мужчины, всегда ему немного и матери, так уж заведено природой, что мужчины всегда больше дети, чем женщины. Легкая влюбленность Есенина чутко, негрубо снималась почти материнской участливостью Шаганэ, которая понимала, что больная душа поэта нуждалась скорее в мягкой заботе, чем в бурной страсти. И остается только пожалеть, что это врачевание ран длилось так недолго.

Его громкая слава не кружила ей голову. Его внимание ей нравилось, но меньше всего она думала о том, что это внимание знаменитого поэта. Ей нравились его облик, его нежность, его певучий дар. В проявлении своих чувств она была пуглива и сдержанна. И это после всех безумных страстей, какие вызывал он у женщин! Надо полагать, это непривычное ощущение было ему по душе. “Дорогая моя Шаганэ, Вы приятны и милы мне”. Такую дарственную надпись сделал он на книге “Москва кабацкая”, которую преподнес ей. Светлые безыскусные слова этой надписи как нельзя лучше передают характер их отношений.

Есенин покидает Батуми, едет в Баку. Перед отъездом он набросал Шаганэ пленительный план их будущих встреч. Он обещал ей вернуться. Обещал взять с собой в Персию, подарить шаль из Хороссана. Это были широкие обещания поэта, всегда минутные и непередаваемо милые и необидные. И виноваты ли поэты, что не всегда могут выполнить свои обещания? Слишком мало дней отпущено им на земле...

В 1967 году, задумав написать статью для “Комсомольской правды”, я пришла на высокий четвертый этаж, в просторную квартиру в центре Еревана к Шаганэ Нерсесовне Тальян. Она и в старости была красива. Легко было представить очарование ее юных лет. И все же фотография, которую она мне показала, поразила меня. Такой точеной красоты я все-таки не ожидала. Колдовство пропорций, светлая кожа, большие темные глаза, некрупные черты безукоризненной лепки, темные густые волосы, оттеняющие белую кожу лица, гладкая скромная прическа. На меня смотрела с фотографии юная двадцатилетняя красавица

восточного типа, но не резко характерного, а затаенно-прекрасного. Становилось понятно, почему девичью прелесть на Востоке всегда сравнивали с газелью, ланью, маралом, джейраном, косулей, серной. Газелеокая. Вот именно. И странно ли, что эта нежная красота вкупе с редкой скромностью (газель опускала глаза и была молчалива и застенчива даже в старости) так запали в душу Есенина. Да, этим мягким женским обликом можно было лечить душевные раны. Так что мы вправе говорить не только об увлечении, но и врачевании.

Забегая вперед, с сожалением приходится признать, что не помог и Восток. Ибо что может помочь, если человек “очень и очень болен”. Но время до самой последней немочи еще есть, и инстинкт безошибочно ведет поэта к красоте, а стало быть и к врачеванию.

*Отчего луна так смотрит тускло
на сады и стены Хороссана?*

О том, что Есенин ступал в следы Хлебникова, создавая “Персидские мотивы”, я уже писала. Но есть некая переключка этих мотивов и со стихотворением Г.Р.Державина “Русские девушки”. А разве не вправе мы вспомнить еще и это:

*Не глядись в темный взор
В нем безбрежность ночей,
Ужас тьмы, духи гор –
Бойся темных очей!*

Знал ли Есенин это стихотворение Аветика Исаакяна в непревзойденном переводе Блока? Наверное знал. Он ведь знал каждую строчку своего петербургского кумира. Но здесь было другое: темный взор Шаганэ меньше всего был inferнальным. Это была мягкая теплая летняя южная ночь с умиротворяющей, хотя и глубокой чернью.

Увы, не эта, а другая фотография Шаганэ Нерсесовны Тальян хранится в архиве Сергея Есенина в Государственном литературном музее в Москве. Но уже то, что поэт сохранил ее фотографию, говорит о многом. Тем более, что он был не из тех поэтов, которые дорожат сохранностью своего домашнего архива. Видимо, Есенин возвращался к мыслям о Шаганэ, об их встречах.

Трудно сказать, думал ли он лично о ней: воображение и явь так таинственно переплетены у поэтов... Возможно, дело было

не столько в Шаганэ Нерсесовне Тальян, сколько в предуготованности Есенина к встрече с “персиянкой”. Он даже как бы искал такой встречи. Пусть он еще не попал в Персию, но душе не терпелось воспеть персиянку Лалу, ведь у персидских лириков были такие возлюбленные. Поэтому красивая восточная женщина должна была его взволновать, а тем более женщина столь юная и застенчивая. Жизнь была щедрой к Есенину: о лучшей пери не мог мечтать и Хафиз.

*В Хороссане есть такие двери,
где усыпан розами порог,
там живет задумчивая пери,
но открыть те двери я не мог.*

Пери и вправду была задумчивой и очень целомудренной.

В душе моей живет воспоминание, связанное с пребыванием Есенина на Кавказе. С детства врезалось мне в память здание гостиницы и ресторана “Новая Европа” в Баку, куда меня восьмилетнюю повел как-то обедать отец. С мамой они были уже разведены, и потому встреча с отцом и этот обед (в ресторане! в те годы!) запомнились резко. Старая часть города, недалеко от приморского бульвара, дореволюционные строения на европейский манер самого начала XX века и даже конца XIX века — времен Манташева, Нобеля, Маилова и прочих нефтепромышленников, времен разрастания города на Апшероне, превращения его в большой интернациональный промышленный и культурный центр. Так вот гостиница “Новая Европа”, высокий потолок ресторана, белые айсберги твердых накрахмаленных салфеток на столах, чинность, ослепительная чистота — видимо, из-за этого контраста со всем обыденным и привычным все это столь жгуче и запомнилось мне. 1945 год, сама скудость жизни вокруг помогали этому запоминанию. Я не знала тогда (лишь став взрослой, узнала), что именно в этой гостинице Есенин читал впервые только что созданное им одно из самых пронзительных его стихотворений “Отговорила роща золотая...”. Он читал его на крыше “Новой Европы”, в летнем ресторане при гостинице. Опубликована была “Роща...” впервые в газете “Бакинский рабочий”. Жил Есенин в Баку у Чагина, неясно, откуда взялась гостиница “Новая Европа”, но воспоминания современников соотносят “Отговорила роща золотая...” именно с рестораном “Новой Европы”. Видимо, тяжелая депрессия заводила Есенина и в эти стены. Глубоко больной человек писал проникновеннейшие, свет-

лейшие стихи. Вдали от России, от родной рязанщины он прощался с журавлями и голыми осенними равнинами, певцом которых был всю свою жизнь. Дистанция, удаленность только усиливали щемящесть и трагизм стихов. Так оно и должно было быть: лучшие страницы о лете пишешь зимой, сидя у печки, говорил Гейне. Стихи были прощальными и оказались пророческими.

Так вот, оказывается, на марше этой лестницы, в этом зале, на этой веранде, в этих стенах... На этих улицах Баку... На коврах и у пляжей этой дачи в Мардакянах...

*Стою я, ритмы строк припоминая,
Сдавил мне горло слез ненужных ком.
И губы шепчут: “Роца золотая
Отговорила милым языком”.*

(автор)

Да, на этих улицах, в этих стенах, на этой летней веранде ресторана, в субтропической зелени этого сада... В тяжелейший период его жизни. Во второй приезд в Баку поэт часто плакал, на него находили темные страхи, управлять которыми день ото дня становилось все труднее. Психика его была уже подорвана. Признаки острейшего нервного истощения были налицо. Заболевание это и сегодня не очень поддается лечению. “Шуми, левкой и резеда, с моей душой стряслась беда”. Мы помним, конечно, его еще недавний прекрасно сшитый костюм, мягкую шляпу и летнее серое пальто, переброшенное через руку, — его батумский облик декабря 1924 года, в котором он впервые предстал перед Шаганэ. Пройдет всего несколько месяцев — и, боже мой, как все изменится в его жизни! Подойдет к краю сама жизнь... Как смертельно больная птица, он будет вновь и вновь лететь к тем местам, где ему так хорошо пелось и где утихали былые раны, то есть на Кавказ. По-прежнему будет стремиться в Персию. Но теперь он приедет в Баку, увы, охваченный беспощадной к нему агонией. Я пишу это, и у меня сжимается сердце. Как жималось оно у всех, кто видел его в те дни... Уже ничем не могла помочь Персия, но поэт всё стремился к ней. Он все еще надеялся. Это были уже растерянные блуждания, отчаянные попытки смертельно больной души. Это была уже судорога.

Глупое сердце, не бойся...

Но оно отчаянно билось. И терзало поэта своим тяжелым биением. “Все мы обмануты счастьем...” Слезы катились по лицу Есенина. Уже по одутловатому лицу со вспухшими веками...

*Глупое сердце, не бойся,
все мы обмануты счастьем.
Нищий лишь просит участия.
Глупое сердце, не бойся!*

Им уже целиком владели токсичные силы. Глубоко больной мозг насылал на сердце тяжелое, ухающее биение, душное ощущение запертости, безысходности, смертной тоски. Больным было не сердце, болен был мозг, вернее сказать, целостная душа, отчего эти болезни и называются душевными. Как все-таки точны поэты в описании своих ощущений! Он ведь писал именно о биении сердца. И как скупы и неполны рядом с этим заключения врачей! Душа проецировала в мир собственные метания. Именно они натолкнули поэта на один из самых роковых в его жизни поступков — на разрыв с Галиной Бениславской, самым преданным ему человеком за всю его жизнь. Но заставить рок отступить поэт не в силах. Раздерганность стремительно увлекала его к трагическому финалу. Горестные и правдивые слова А.К.Воронского, редактора журнала “Красная новь”, где печатались “Персидские мотивы”, воссоздают атмосферу тех последних месяцев в жизни поэта с особой силой. Как все-таки бесценна правда и сколь много в ней света, несмотря на трагизм: “Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном, с чужих плеч, пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищенные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрил. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у Чагина, следившего за его лечением, но показало за чем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить. С моря дул резкий и холодный ветер. Есенин стоял, растерянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею

черным шарфом. Вся фигура казалась обреченной и совсем не нужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает. В загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

— У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я всё отдал им, понимаешь, всё. Вон — церковь, село, даль, поля, лес. И всё это отступилось от меня.

Он плакал больше часа”.

А кто-то сказал — Лель... Нет, не всегда пронизательны люди. Думают, если русые кудри и лира... “Я всё отдал им” сказал он о стихах. Да, всё. Саму жизнь. Само счастье жизни. Долгая жизнь не давалась ему. И было ему жития на земле три десятилетия. И какой была эта жизнь неприкаянной — все эти “Новые Европы”, “Англетеры”! Последний брак сделал его еще более одиноким. О если бы Галина Бениславская! Но что толку сетовать: свой выбор делает судьба. И выбор ее не оспоришь.

Да, было жития ему на земле — три десятилетия. И самый канун его тридцатилетия был увенчан циклом стихов, который стал одной из вершин русской лирики. Цикл этот, как и пушкинские “Маленькие трагедии”, целиком и полностью обязан воображению поэта. Ни Западная Европа Пушкину, ни Иран Есенину не были даны в яви. Тем более жгучую работу проделало воображение. Интуиция, как всегда, избрала кратчайший путь. “Никогда я не был на Босфоре...” Никогда. Меж тем миллионы на Босфоре были... “Отчего луна так светит тускло на сады и стены Хорросана?” В самом деле — отчего? Плаваньем в какие глубины является творчество?

Впрочем, нетрудно мысленно побывать всего лишь в Иране, когда Орфей “побывал” в царстве теней, Гильгамеш и Данте — в аду, Лермонтов, Уитмен и Маяковский — в космосе, Шекспир, ни разу не выезжая из Англии, — во всех странах Европы, Пабло Неруда — в самом сердце минералов, а ландшафт, помещенный Леонардо за спиной Джоконды, имеет инопланетную локализацию, причем, видимо, топографически очень точную... Когда-нибудь наш потомок поразится на дальней звезде линиям ландшафта, которые он уже где-то видел... Вот с каким даром в руке может вынырнуть художник из снов. В том числе и из дневных...

Мысленный взор приспособлен к схватыванию самой сути. И потому он точнее взора обычного, реального.

*И внял я неба содроганье
И горний ангелов полет.
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.*



Арус Агаронян

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ, ИЛИ АБРИКОСОВЫЙ ПИРОГ

Hello, Andrew! How are you?

Мне было одиннадцать лет, училась я в школе имени А.С.Пушкина в Ереване.

Перед школой и сейчас стоит на пьедестале замечательный бюст поэта работы Григора Агароняна. К счастью, в безумстве разрыва связей с русской культурой его не постигла участь бюста А.П.Чехова. Тот исчез бесследно, и сейчас на его месте стоит работа другого автора.

Мы беззаботно и весело играли вокруг памятника, любовались им, и не думала не гадала я, что жизнь на одном из крутых своих виражей сделает меня членом семьи пока неизвестного мне скульптора.

В пятом классе в расписании уроков появился новый предмет — “География”. И вот в класс вошла учительница географии Вера Николаевна — высокая, стройная, красивая женщина, русская. Говорили, что муж-армянин привёз её из Ленинграда. Она довольно быстро увлекла нас своим предметом. Я обожала и её саму, и географию и не представляла, что в жизни может быть что-нибудь интереснее. Я твёрдо решила, что стану такой же умной и красивой учительницей и так же буду околдовывать своих учеников рассказами о разных странах. Но вдруг в конце четверти в табеле напротив “Географии” я увидела тройку. О, сколько горьких слёз я пролила над ней! Как только табель оказывался у меня в руках и тройка попадалась мне на глаза, я редела в три ручья. Я была безутешна. Мама меня всячески успокаивала. Купила мне большую физическую карту мира и повесила её над моей кроватью. И карта эта вместе с книгами Жюль Верна стала для меня источником необыкновенных приключений. Я весь день с нетерпением ждала наступления волшебства. Вечером поспешно ложилась в постель, утыкалась в карту и пускалась в самые удивительные путешествия. Карта висела так, что я сразу попадаю в Северную Америку. Южная Америка уходила глубоко в про-

межуток между постелью и стенкой, и чтобы попасть туда, я ложилась поперёк, ныряла под кровать и двигалась дальше по южным странам, не отрываясь от карты, скользила вниз к изножью постели и упиралась в загадочную Индию, а затем и в самый край света — Австралию. Тогда мы понятия не имели о телевизоре. Да, сегодняшние телевизоры и виртуальные игры ничто по сравнению с теми картами. Карта служила мне не только настенным ковром, но и самым настоящим фантастическим телевизором. Кто из детей сейчас живёт картами!

Кстати, сегодня, переходя улицу, я наткнулась на Веру Николаевну. Она была такой же красивой и стройной. Я не заговорила с ней — момент был неподходящий. Но надеюсь встретить её ещё раз и через шестьдесят лет наконец высказать ей свою обиду за ту тройку.

Итак, я в Северной Америке! Согласно школьной программе, исходившей из политики страны, я в первую очередь должна была знать о том, сколько угля добывается в США на душу населения, о борьбе негров за свободу и рабочего класса против ига империализма, а также о праве тётушки Салли бросить кухню и идти управлять страной. Но меня больше волновали воинственные индейцы, опасные приключения, леса и долины Америки, её полноводные реки и распутившиеся, как трилистник, озера на северо-востоке страны, могучий Ниагарский водопад — всё, всё, что касалось таинственной страны под названием “Америка”. Боже, а города! Я шла от самого Нью-Йорка, преодолевая невероятные трудности, измученная, истощенная насекомыми, обожжённая солнцем, исхлёстанная ветрами и дождями, и лишь благодаря своей сообразительности ловко избегала страшных встреч с индейцами, змеями и дикими зверями и вскарабкивалась на самую верхушку США — город Сиэтл.

Но тут раздавался мамин спасительный голос:

— Арусик джан, спать пора, утром в школу опоздаешь.

— Сейчас, ма, я слезу с Сиэтла.

О, как мне хотелось увидеть всё это собственными глазами!

Мне было невдомёк, что на дворе конец сороковых, страна в железных тисках и, чтобы сбывься моей мечте, должно пройти больше шестидесяти лет: вслед за отгремевшей Второй мировой войной с нашей опустошительной Отечественной должна пасть тирания, прийти оттепель, а затем и глухая пора застоя, и нам надо пережить всё это, и, что самое главное, мне, девочке, надо стать бабушкой.

Каких только чудес не бывает на свете! Настало наконец время, когда железные объятия, душившие страну, разомкнулись. Распахнулись двери и окна, подул свежий ветерок, и жители разных стран бросились открывать друг друга.

Первым американцем, переступившим порог моего дома, был чудесный парень Эндрю Морган из штата Теннесси. Когда он сказал, что он из Чаттануги, я по старой пионерской привычке тут же спела ему распространённую у нас в пятидесятые годы песенку “Чаттануга, чу-чу”. Он ответил мне радостной улыбкой. Наши друзья приходили смотреть на него, как на пришельца с другой планеты.

Приехал он через Корпус мира, как доброволец, жил у меня три месяца. И за это время так хорошо изучил армянский язык, что на выпускном торжестве ему доверили произнести довольно пространную прощально-благодарственную речь.

Приехал Эндрю в один из тёмных, холодных и голодных для Армении годов, в 1995-м (хлебные карточки отменили незадолго до этого), к тому же страна не оправилась ещё после разрушительного землетрясения 1988 года, да и жила в блокаде. Не побоялся парень! Всё-таки неизвестная страна, незнакомый быт и нравы. Но ему было двадцать три — возраст, когда на трудности плюют с высокой колокольни. По всему было видно, что он из приличной семьи, хорошо воспитан, очень тактичен. Высокого роста, тонкий, как тополь, и красивый. Всегда говорил, куда идёт, чем будет заниматься и когда вернётся. Для большей ясности показывал время на циферблате висевших в коридоре часов, так как я тогда по-английски ни бум-бум. (После войны детей в основной части наших школ обучали немецкому языку.) Ни разу за три месяца не опоздал, не нарушил обещания — он ценил своё слово и уважал чужое время!

В первый же вечер, когда стемнело, я зажгла керосиновую лампу. Мы вынуждены были довольствоваться таким освещением, так как свет в те годы давали по два часа в день, а то и по часу. За это время надо было успеть и постирать, и погладить, и что-нибудь сварить, и тоску по телевизору утолить. Но мы умудрялись даже воду для грелок вскипятить, чтобы ночью, с головой укрывшись одеялом, согреть постель не только собственным дыханием. Даже японская аппаратура не выдерживала такой нагрузки. А народ наш всё выдерживал и всё успевал. Однако американцам неведомо, что значит подчиняться обстоятельствам, они сами подчиняют их себе. Эндрю тут же вытащил из сумки шахтёрскую лампочку, закрепил её на лбу и, освещая себе путь,

стал передвигаться по тёмной квартире, как по шахте. Значит, приехал подготовленный!

Эндрю быстро освоился, приобрёл друзей среди армян. Первое, что его очень удивило, — наша чересчур назойливая манера угощать за столом. Он уморительно показывал, что протянет ноги, если и дальше будет так продолжаться. Его американские друзья часто приходили к нам. Был июнь, изобилие абрикосов. Я разжигала керосинку (газ также отключили на несколько лет, а керосин был по талонам, и выходит, не так уж плоха привычка не выбрасывать старые вещи, если есть где их хранить) и в старой бабушкиной буржуйке пекла пирог с выложенными поверху сочными дольками абрикосов. Ребята, окружив керосинку, разговаривали, видимо шутили, так как весело хохотали, меня тоже старались вовлечь в свои беседы на американо-армянском наречии и терпеливо ждали, пока испечётся пирог. Затем мы пили чай с абрикосовым пирогом.

Эндрю решил, что и его родители должны увидеть Армению. И однажды приехали его мать Джил и отчим Джим. За неделю Эндрю успел показать им почти все достопримечательности Армении. За пятьдесят лет жизни в Ереване я так и не нашла времени съездить в Татев, и надо было, чтобы именно эти милые люди из Америки показали мне и моему внуку Ваге наш Татев. Приезжал и отец Эндрю, Джеральд. Вечерами он под собственный аккомпанемент на гитаре пел задушевные американские песни. Думаю, что они остались довольны поездкой.

Эндрю прожил в Армении два года, преподавал английский язык сначала в школе в Талине, затем в Ванадзоре, в институте. Здесь ему выделили комнату, и даже тут он умудрился пригласить нас (меня с моими ванадзорскими родственниками) в гости, предварительно накрыв красивый стол. Приезжая в столицу, он заходил ко мне, а иногда и оставался ночевать. Бывало, мне удавалось запихнуть ему в рюкзак баночку смородинового варенья со своей дачи. После его ухода где-нибудь под подушкой я находила оставленные им деньги. Эндрю стал моим третьим сыном. Отработав два года, он уехал, но связь наша не прерывалась. К каждому празднику он присылал мне чудесные открытки, письма, фотографии и под Новый год — довольно значительную сумму денег. Про абрикосы не забывал, однажды написал: “Сейчас у вас сезон абрикосов. Наверное, ты вдоволь наедаешься ими!”

Наконец наступил день, когда смогла осуществиться моя мечта — самой открыть эту окутанную тайной страну Америку. В числе других армянских бабушек, уезжавших в США на заработ-

ки (характерный признак 90-х), не знавших ни языка, ни нравов, ни обычаев чужой страны, но жаждущих поддержать своих детей в трудные годы, через агентство, вербовавшее их, я попала в Нью-Йорк. (Мытарства армянских бабушек в Америке — отдельная тема). В первый же день я побежала на Брайтон-Бич, этот Советский Союз в миниатюре. Тут можно встретить представителей всех наций и народностей, всех слоёв общества, людей разных профессий из бывшего СССР со всеми их достоинствами, недостатками и даже пороками. Я облазила почти весь Манхэттен, исходила вдоль и поперёк Гарлем и не увидела ни одного негра, изнывающего под игом проклятых империалистов, посетила многие достопримечательности Бруклина, Бронкса. Удивлялась, почему наш Владимир Маяковский обозвал этот город “каменными джунглями”. Манхэттен — это фантастический зеленый остров, выросший среди океана. Здесь обрели воплощение самые невероятные духовные порывы архитекторов и строителей. А какие волшебные миры открываются в Метрополитен-Опера, в Карнеги-Холл, в Музее Метрополитен! Список известнейших очагов культуры этого города можно продолжать бесконечно. В Нью-Йорке действительно много камня, железа и стекла, но всё окружено морем изумительных цветов и зелени. Весной здесь улицы благоухают ароматом белых, розовых, фиолетовых, жёлтых магнолий, буйствует сакура, пламенеют на газонах дивной красоты тюльпаны. Когда сакура осыпается, земля вокруг покрывается пушистым розовым ковром, и так и хочется растянуться на нём (однажды я так и сделала.) Над тротуарами и мостовыми всюду висят причудливые вазы с экзотическими цветами. Достаточно назвать один только Центральный парк или парк Баттери, километровой зелёной лентой окаймляющий Манхэттен по берегу Атлантического Океана.

Мне не терпелось увидеть и предмет моих детских грёз — Ниагарский водопад. И вот с разноязыкой группой туристов я еду на экскурсию. Сопровождавшие нас по дороге густые леса и долины, спокойные реки были те же, что и в моём воображении, но Ниагарский водопад поразил своим величием и мощью. Неужели я воочию вижу это! Я окунула руки в воды Ниагары, омыла лицо. Затем осмотрела, как она, изогнувшись широким полукругом, низвергается с головокружительной высоты. В музее Ниагарского водопада есть фотографии, запечатлевшие смельчаков, с пятидесятиметровой высоты прыгнувших в бурлящую бездну. Я оглядела водопад со всех смотровых площадок, спускалась на лифтах, прошла по тоннелям и поднималась по лестницам, чтобы

подойти как можно ближе к летящим вниз струям, и искупалась в их брызгах, вместе с туристами, по самые борта забившими палубу теплохода, сквозь облака водяной пыли проплыла мимо обрушивающихся с оглушительным грохотом многотонных потоков к канадскому берегу. (Тут меня, советского человека, привыкшего жить экономно, поразило то, как жёлтые и синие плащи, которые экскурсанты надевали, чтобы не промокнуть, затем безжалостно выбрасывали в контейнеры. Я спросила работника, может, они потом обрабатываются? Оказалось нет. Подобная расточительность американцев удивляла меня не раз.)

Затем Джил и Джим пригласили меня к себе в Теннеси, в Чаттанугу. Впечатление от их чистеньких, аккуратненьких особняков, утопающих в цветах и зелени, их гостеприимства и тёплых улыбок неизгладимо. Джим художник, в Чаттануге у него своя мастерская. Он пригласил нас к себе: на стенах висели замечательные картины его кисти, и среди них, украшение коллекции, — превосходный портрет Джил. Тут меня ожидал сюрприз: после того как мы осмотрели мастерскую и картины, мужчины включили камеру и стали показывать фильм, сопровождая кадры комментариями. И как вы думаете, о чем? Фильм, снятый Эндрю в Ани! Задолго до этого он прислал мне в Армению открытки с видами Ани. А тут целый фильм! Оказывается, они с другом ездили в Турцию и, преодолев административные препоны, попали в Ани и засняли развалины города. Эндрю была знакома мечта каждого армянина увидеть Ани, и он своей поездкой и съёмками осуществил её. Меня это тронуло до слез. Значит, в далекой Чаттануге живут люди, которым понятны наши чувства. Глубокий поклон им за это.

На следующий день, прогуливаясь по городу, мы забрели на городской вокзал. Джил окликнула меня: “Арус, оглянись!” Я повернулась и увидела стоящий на пути ярко раскрашенный, словно игрушечный, поезд-раритет с надписью на одном из вагонов: “ШАТТАНООГА ЧОО-ЧОО”. Боже мой! Это же родное существо! Я подошла и ласково погладила дорогого друга детства по тёплому железному боку.

Отец Эндрю, Джерри, показал мне поле сражений 1861—1865 годов между буржуазным Севером и рабовладельческим Югом. Мы объездили огромную территорию, на которой ещё с тех времён сохранились пушки, сооружения, увековечившие память о сражениях и героях той гражданской войны, посмотрели выставку, послушали воина, демонстрирующего снаряжение, обмундирование и солдатский паёк того времени.

По дороге перед нашей машиной вдруг возникла пересекавшая шоссе широкая белая полоса. “Это граница между штатами, — пояснил Эндрю. — Сейчас мы выезжаем из Теннесси. Вот мы и в Джорджии. Шаг вперёд или шаг назад — и мы в том или ином штате. Здесь уже действует своя конституция”. Но тут не только действовали свои законы, тут и рекламы были свои. На одном из огромных, нависающих над шоссе щитов красивая породистая корова призывала жителей Джорджии есть вместо говядины кур.

Тётя Эндрю, сестра его отца, пригласила нас на завтрак, там я познакомилась с её многочисленной семьёй: мужем, детьми, внуками, родственниками и друзьями. Видимо, им тоже хотелось посмотреть на женщину, приехавшую из далёкой неведомой им Армении, которую они не могут найти на карте и путают с известной им Роменией. В Америке очень часто можно стать участницей такого диалога:

– Where are you from?

– From Armenia.

– O, my mother is from Romenia too.

Но думаю, они постепенно узнают Армению.

Двоюродный брат Эндрю поблагодарил меня и в моём лице всех армян за тёплое отношение к его брату. А родной брат, Джефф, специально приехавший из другого города, по-родственному расцеловал меня. В этом прекрасном доме почти во всех комнатах, на первом и втором этажах, висели картины русских художников. Оказывается, глава семьи интересовался русской живописью и дружил со многими молодыми русскими авторами. В наших разговорах Эндрю служил переводчиком. Приятно вспоминать этих добрых, приветливых, интеллигентных людей.

В их большом саду я впервые увидела на зелёных лозах, расплзшихся по горизонтально натянутой проволоке, гроздь аппетитной, крупной, с большую черешню, тёмно-синей с сизым налётом, голубики, которую раньше встречала только в магазинах в упакованном виде. В наших краях распространён её мелкий низкорослый сорт.

Удивительно, но в жизни слово и мечта становятся реальностью — если только сильно захотеть! Побывала я и в Сиэтле, и опять благодаря Эндрю и Джил. Эндрю поехал туда работать, и в очередной раз они с матерью пригласили меня, оплатив мой проезд и пребывание там. Была я в этом городе всего день, но какой это был день! Он длится с 25 января 2003 года по сию пору!

Перелёт из Нью-Йорка в Сиэтл длился шесть часов. Обычно, даже если я очень устала, мне не удаётся заснуть в самолёте. Но

те шесть часов я впервые спала глубоким сном. Рядом были два свободных сиденья, я откинула ручки, стюардесса принесла подушку и плед, и даже сейчас, вспоминая тот перелёт, я снова испытываю ощущение удовлетворения и отдыха после спокойного сна. Я проснулась, лишь услышав голос стюардессы, объявившей о приземлении в аэропорту Сиэтла. В зале ожидания издали я увидела Эндрю и Джил. Мы, как родные после долгой разлуки, обнялись и поцеловались.

В противоположность колючему нью-йоркскому ветру со снегом в Сиэтле сияло солнце. Эндрю так детально продумал программу, что успел показать мне почти весь этот уютный, светлый город с его достопримечательностями: мы весь день бродили, разглядывая дома, гостиницы, парки, озеро, шлюзы, мост со сказочными персонажами под ним, рыбный магазин, где продавцы разыгрывают целый спектакль с песнями, переключкой и перебрасыванием рыбы друг другу, уличный цирк с кошками, памятник свинье — всего и не упомнишь. Успели пообедать в ресторане, а вечером пошли на концерт. Когда подходили к зданию театра, Эндрю, показывая вдаль, сказал мне:

— Арус, ты думаешь, Арарат есть только у вас?

И действительно, посмотрев в указанном направлении, я увидела парящую над городом копию Малого Арарата — гору Рейньер.

— Да, красивая гора — и только! Но для армянского народа Арарат — это символ возрождения. Однажды он уже спас человечество от гибели. Ждёт ли кто-нибудь из жителей Сиэтла, чтобы над Рейньером появился голубь с веточкой оливы в клюве?

Эндрю приберёт напоследок ещё один сюрприз. Он хотел окончательно сразить меня, и это ему удалось. Он привёл нас на площадь, где во всём величии высился памятник Ленину. Откуда, каким образом? Был бы это Христофор Колумб, первооткрыватель Америки, или Авраам Линкольн, отменивший здесь рабство, — было бы понятно. А то Владимир Ленин! Оказывается в те годы, когда Ленина изгоняли из наших стран, некий любитель экзотики, гражданин Сиэтла, приобрёл памятник и подарил городу. А городские власти не пожалели для него одну из самых уютных площадей города — площадь Фримонт. И стоит там Владимир Ильич, устремив пронзительный взгляд вперёд в коммунизм, в светлое будущее мирового пролетариата. А жители Сиэтла и не ведают, какой путь он им указывает. Наверное, они воспринимают это как красивую позу. Мы по советской привычке, конечно, сфотографировались под сенью нашего Ленина.

С нами в тот день гулял и сын моей ереванской соседки Лили, Арташес. Из-за моей забывчивости мы могли не встретиться. Уезжая из Нью-Йорка, я забыла взять номер его телефона. Наутро в гостинице спокойно открываю сумку, чтобы достать номер телефона и позвонить ему. И — о ужас! Меня пот прошиб. Нет его телефона! Парень ждёт моего звонка, а я не знаю, что делать! Я не найду его! Значит, мы не увидимся! Эндрю стал меня успокаивать: “Постой! Вот телефонная книга. Сейчас мы его найдём”. “Но он приехал сюда недавно, не успел ещё прописаться, считается временным жителем, тут не будет его телефона”, — говорю я. “Не волнуйся, — отвечает мне Эндрю, — у нас регистрируют и публикуют данные о каждом, кто въезжает в Сизтл”. И в этой толстой книге он нашёл Арташеса Бояджяна. Радости моей не было предела. Вот вам пример разумной организации жизни большого города.

Арташес приехал туда на волне 90-х и сейчас преподаёт в колледже политологии. В Ереване мы живём на одной площадке, дверь в дверь. Недавно Лиля гостила у сына. Однажды они ходили по городу, устали и на обратном пути сели в автобус. Разговаривали, конечно, по-армянски. Вдруг сидевшая рядом молодая американка повернулась к ним и по-армянски (потом она сожалела, что забывает язык) спросила:

— Вы армяне?

— Да, — ответили они.

— Из Еревана?

— Да, а вы бывали в Ереване? — спросили они.

— Да, давно. Жила там три месяца, изучала армянский. Я полюбила Армению, там добрые, гостеприимные люди. Помню, как мы с моим другом Эндрю ходили в гости в какой-то шестнадцатизэтажный дом.

— В нашем районе, в Айгестане, есть два таких дома.

— Да, да, точно, район так и назывался, и там два высотных дома, я была в одном из них в гостях у мадам Арус.

— Ой, так это же наша соседка, она живёт напротив!

— Господи, как тесен мир! Она угощала нас вкуснейшим абрикосовым пирогом.

Милая Лори! Спасибо за память!

К сожалению, они не успели поговорить и взять её адрес, так как проехали вместе всего две остановки.

Видите как! Люди, раньше понятия не имевшие друг о друге, потом могут не только сдружиться, но и стать родными. Единственное, что нужно для этого, — общение. Встречи, беседы.

Я прожила в Нью-Йорке почти три года и полюбила этот город и эту страну. Упала завеса, многие десятилетия, от меня по крайней мере, скрывавшая Америку.

А теперь я приглашаю её жителей на чай с абрикосовым пирогом.

Март 2009 г.



Елена Скворцова

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ АННЫ АБАМЕЛЕК

Елена Викторовна Скворцова – старший научный сотрудник музея Е.А. Боратынского, отдела Национального музея республики Татарстан. Ее книга “Живые картины Анны Абамелек” – это попытка собрать воедино известные и малоизученные факты биографии известной переводчицы, светской львицы, одной из красивейших женщин России своего времени, княжны Анны Абамелек.

ВВЕДЕНИЕ

Анна Давыдовна Боратынская (1814-1889), урожденная княжна Абамелек, более всего известна как адресат изящного пушкинского поэтического шедевра, а также переводчица стихов Пушкина и других поэтов той блестящей эпохи на иностранные языки. Лишь несколько строк в истории русской литературы, за которыми без малого семьдесят пять лет жизни.

Поразительно то, что от каждого ее возраста: девочки, девушки, зрелой женщины и женщины пожилой – останутся портреты, каждый новый этап жизни окажется запечатленным. Дитя, дебютантка, невеста, жена, фрейлина ее Величества, светская львица, вдова. Именно портреты Анны Давыдовны подсказали выбор жанра, в котором будет разворачиваться ее биография: живые картины – светское развлечение, некий вид перформанса прошлых эпох, создающий магическую иллюзию присутствия человека в конкретном историческом пространстве.

Участники живых картин выходили под музыку на импровизированную сцену, занимали каждый свое место и замирали в полной неподвижности, как на живописном полотне. Позы менялись в соответствии с новой сценой выбранного сюжета, затем еще и

еще. Зрители должны были не столько отгадать, что изображалось “актерами”, так как выбирались произведения широко известные или модные, сколько восхищаться красотой дам и художественным вкусом постановщика. Особенно изысканной считалась живая картина, повторяющая какое-нибудь выдающееся живописное полотно или скульптуру.

Наши живые картины также будут выстроены вокруг работ художников, иногда именитых, а чаще неизвестных. Они не претендуют на соперничество с оригиналом. Скорее наоборот, создаются для того, чтобы за праздничными одеяниями и пышными интерьерами благосклонная публика ощутила самобытный характер и чуткую душу одной из самых прекрасных женщин XIX века.

Итак, сцена готова, главная героиня ждет своего выхода. Пора поднимать занавес...

КАРТИНА ПЕРВАЯ “ДИВНОЕ ДИТЯ”

...Утренний луч пробивается в щелку сквозь плотные портьеры, и в нем танцуют смеющиеся крохотные искорки. Надо лежать тихо-тихо, чтобы уловить еле слышную мелодию, похожую на перезвон серебряных колокольцев. Потом возникает влажная, пронизанная игрой светотени громада сада, полная таинственных уголков, напоенная ароматом цветущей сирени. И летит над сказочным царством голос матушки, зовущий издали: “Анюта”!.. И свет лампадки у иконы, и заботливые руки нянюшки, укутывающие в тепло и уют...

От той поры останутся два ее портрета. На небольшом овальном неизвестный художник написал акварелью малышку, обнимающую комнатную собачку. Строгий взгляд огромных карих глаз, упрямый маленький подбородок, темные кудряшки, аккуратно обрамляющие большой лоб, и некоторым диссонансом с “взрослым” серьезным выражением лица — пухлое тельце купидона, едва прикрытое мягкими складками одежды.

“Портрет человека пишется для памяти ему близких людей, людей его любящих, им нужно его милое изображение”, — справедливо полагал небезызвестный крепостной живописец графа Моркова Василий Тропинин. Его кисти, а точнее итальянскому карандашу, предположительно принадлежит второе из изображений Анны. Улыбка парит на портрете, наполняя лучистым светом

огромные глаза, смягчая линию подбородка. Шелковистые завитки коротких кудрей скрывают высокий лоб, а легкий румянец довершает впечатление миловидности и детской наивности.

Один из двух портретов был оплачен бабушкой, Анной Сергеевной Лазаревой, в честь которой и названа внучка. Тут, судари мои, следует сделать отступление и, рискуя сбиться на эпический лад, поведать о необычной семье, в которой родилась будущая “Мадам Восточная звезда” Аленька Абамелек.

Со стороны матушки Марфы Иоакимовны принадлежала она к роду Лазаревых (Егиазарян, Лазарян), зачинателем коего в государстве Российском был ее прадедушка. Лазарь Назарович происходил из древнего армянского рода, который, как удостоверят жалованная грамота императрицы Екатерины II от 3 октября 1776 года, вел свое начало с XIV века. Вместе со многими другими семьями восточноармянских дворян Егиазаряны были переселены в Персию шахом Аббасом I в начале XVII века, дабы поспособствовать усилению экономики государства за счет армянского капитала и ремесленничества. Спустя полвека, уже при Аббасе II, один из представителей рода, Егиазар Егиазарян служил управляющим персидского монетного двора и телохранителем самого шаха.

Лазарь Назарович родился в Новой Джульфе, предместье Исфагана — столицы Персии. Знатность, богатство, образованность, близость к шахскому двору позволили ему уже в девятнадцать лет получить завидное назначение — должность правителя родного города. Но после шаха Надира-кули, в середине XVIII столетия, ситуация в Персии дестабилизировалась, начались гонения на армян, и, оставив немалые угодья, великолепный исфаганский дом, впоследствии превращенный в шахскую резиденцию, дальновидный Лазарь Назарович около 1750 года переехал в Астрахань.

А поскольку здешняя влажность была ему противопоказана, то лет через восемь семья переселилась в Москву, привлекательную не только здоровым климатом, но и широкими возможностями для промышленной и торговой деятельности. Обосновавшись там, Лазарь Назарович начал вести обширную торговлю в Европе и на Востоке. При императоре Петре Алексеевиче был он назначен переводчиком при сношениях России с Персией. В 1768 году императрица Мария-Терезия удостоила его титула барона Священной Римской империи за заслуги в распространении христианства и усилия по защите армян в странах Передней Азии, а через восемь лет матушка-императрица Екатерина Алек-

сеевна высочайше даровала грамоту о возведении его в потомственные дворяне Российской империи.

С сыном Лазаря Назаровича Иваном Лазаревым историки связывают появление в скипетре российских самодержцев одного из самых больших в мире алмазов — бриллианта “Орлов”, который звался сначала “Дери-а-нур”, то есть “Море света”, и украшал трон грозного правителя Ирана Надир-шаха. Найденный в копиях индийской Голконды в начале XVII века осколок крупного кристалла весом в 400 каратов попал к правителю империи Моголов Шах-Джахану. Придворный гранильщик стремился максимально сохранить массу алмаза, а потому лишь отшлифовал природные грани, чем и объясняется его не совсем правильная форма. И все же алмаз потерял почти половину своей массы и в ограниченном виде весил уже 194,7 карата. Позднее камень был украден, переходил из рук в руки, пока, наконец, не приобрел его армянский купец Григор Сафрасян (Григорий Сафрас). В 1767 году он положил алмаз в Амстердамский банк “для сохранения за тремя печатями на красном воску”, а через пять лет продал камень за 125 тысяч рублей племяннику своей жены графу Ивану Лазареву, страстному любителю драгоценных камней и гофювелиру Екатерины Великой. По фамилии нового владельца алмаз стал называться “Лазаревым”. Уникальный камень приглянулся Григорию Орлову. Перечить власть имущим себе дороже, и Иван Лазаревич уступил его могущественному фавориту, а тот, назвав алмаз своим именем, преподнес его в подарок императрице в день ее тезоименитства. Так в скипетре императрицы появился бриллиант “Орлов”. Весьма любопытная история в духе блестящего и авантюрного XVIII века.

Однако нас интересует другой сын Лазаря Назаровича — Иоаким. Это именно ему наша трехлетняя героиня просит передать, что почтеннейшего дедушку любит даже “более, нежели родного папеньку”.

Иоаким (Оваким, Еким, Аким) Лазаревич Лазарев известен как основатель и первый попечитель Лазаревского института восточных языков в Москве. Хотя следует отметить, что открытие училища (официальное наименование института оно получило не сразу) было общей мечтой братьев Лазаревых и каждый из них внес посильную лепту в ее осуществление. Институт стал одним из самых престижных учебных заведений Российской империи, славился Минералогическим кабинетом, нумизматической коллекцией и обширной библиотекой.

Но обо всем этом маленькая Аненька узнает гораздо позже, а пока она радуется дедушкиному подарку — первым в своей жизни серьгам.

Анна, возможно, особо любима родителями. Старшая из детей, она с раннего возраста обращала на себя внимание не только очаровательной внешностью и милым характером, но и способностями.

Образование и достойное воспитание семерых детей — главная забота их матушки Марфы Иоакимовны. Она регулярно сообщает своим родителям об их успехах. Кроме русского и французского все они обучаются родному армянскому языку. А батюшка? Каков был у Аненьки батюшка?

Князь Давыд Семенович Абамелек принадлежал к старинной армянской княжеской фамилии из Грузии. Древний род, высокое положение, родственные связи, образованность — все эти дары князь Давыд Семенович получил в наследство от своей семьи и распорядился ими достойно. Боевой офицер, начавший службу корнетом и вышедший в отставку в чине генерал-майора, князь Давыд участвовал в многочисленных сражениях на тогдашнем европейском театре военных действий. Был награжден Анненской шпагой за Аустерлиц, прусским орденом “Pour le merite” (“За достоинство”), четырьмя российскими орденами. Сухой формулярный список князя звучит как героический гимн мужеству и отваге.

Значительную роль сыграл послужной список князя Абамелека и в том, что имя его дочери навсегда запечатлится в памяти потомков рядом с великим именем Пушкина.

1814 год застанет Давыда Семеновича подполковником лейб-гвардии гусарского полка, расквартированного в Царском Селе. Когда и при каких обстоятельствах произошла встреча маленькой Анюты Абамелек и юного лицеиста Александра Пушкина, доподлинно не известно, точно установлено только одно: она была.

*Когда-то (помню с умилением)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.*

Хрестоматийные пушкинские строки. Свойственная ему точность и лаконичность. Умиление, которое испытывает душа от взгляда на прелестного ребенка, восхищение — от его лепета и забавных проделок. Спустя годы, когда будут писаться эти строки, придет благоговение и поклонение перед прекрасной девушкой, в которую превратилась забавная двухлетняя малышка.

*Вы расцвели – с благоговением
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношу
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.*

КАРТИНА ВТОРАЯ “ЗАРЕМА”

*Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,*

*В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!*

А.С. Пушкин

“Бахчисарайский фонтан”

В 1820-х годах имя Александра Пушкина стало известно всей читающей России. Признание и славу принесли ему поэмы, получившие наименование “южных” — как по месту географического пребывания автора на момент их написания, так и по экзотическому колориту, заставлявшему современников вспоминать “восточные поэмы” Байрона. “Байрон служил образцом для нашего Поэта; но Пушкин подражал, как обыкновенно подражают великие Художники: его Поэзия самопримерна”, — гласила рецензия на “Бахчисарайский фонтан” в тринадцатом номере “Сына отечества” за 1824 год. Именно это произведение упрочило за Пушкиным положение главы русских романтиков и кумира читающей публики.

Усилия художников XIX века воплотить на бумаге или холсте зримые образы пушкинских героев были, увы, не слишком успешны. Характеры ускользали, прячась за пышный ориентальный колорит, роскошные интерьеры и пестрые восточные одеяния. И лишь в 1899 году эту задачу блестяще выполнил выдающийся армянский живописец, график и театральный художник Вардгес Суренянц. В его иллюстрациях соединились в гармоничное целое знание истории, традиций, быта Крымского ханства, многовековое искусство армянской книжной графики и завораживающий дух пушкинской поэмы.

Окунувшись в манящую экзотику Востока и поддавшись магическому очарованию “Бахчисарайского фонтана”, юные девушки пушкинского времени в грезах своих представляли себя кто нежной Марией, а кто и порывистой, гордой Заремой. Да что в мечтаниях! Драматический сюжет открывал широкие возможности для публичной демонстрации грации, утонченной эlegantности и артистических талантов в любимом светском развлечении — живых картинах.

Портрет юной княжны Анны Абамелек в облике Заремы, писанный неизвестным художником предположительно в 1831 году, единственный из ее портретов, напрямую связанный именно с участием в живых картинах и, пожалуй, самый загадочный. До нашего времени он не дошел, но в Пушкинском Доме хранятся две идентичные фотографии с портрета, сделанные в калужском ателье С.Адамовича в 1870-х годах. На одном экземпляре подпись: “Анна Баратынская (Зарема Пушкина)”, на другом — “А.Д. Абамелек в костюме Заремы. Подлинник сепия в Железнях под Калугой”.

На фоне пышно драпированной портьеры, мягких подушек и экзотического пейзажа с пальмой, озером и горами на горизонте (так, видимо, художник представлял себе типичный “гаремный” колорит) Анна предстает перед зрителем в облике пушкинской героини.

*Все жены спят. Не спит одна.
Едва дыша, встает она;
Идет; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме ночной
Ступает легкою ногой...
Пред нею дверь; с недоуменьем
Ее дрожащая рука
Коснулась верного замка...
Вошла, взирает с изумленьем...
И тайный страх в нее проник.*

Впрочем, на картине не все так драматично, как в пушкинской поэме. Лицо “Заремы” прекрасно и безмятежно, поза спокойна и статична. Лишь белая чалма, детали экзотического платья и кинжал в руке (почему-то в левой) указывают на мучимую гибельными страстями героиню “Бахчисарайского фонтана”. Приходится признать, что живописец не смог в полной мере передать неистовый ее темперамент, но зато запечатлел прекрасный воздушный облик семнадцатилетней княжны Абамелек.

О самом портрете почти ничего достоверно не известно. Кто его написал? Где? Когда? Почему он несколько лет “блуждал” по Европе, в то время как “модель” не покидала пределов России? Сохранился ли до нашего времени?

Можно лишь предположить, что портрет был написан по заказу кого-то из семьи Лазаревых или Абамелек, поскольку в конце XIX века оказался в поместье Голощапово Смоленской губернии, принадлежавшем семье Боратынских. Подтверждением сему служит семейный альбом Абамелек-Лазаревых 1893 года, хранящийся в Центральном государственном историческом архиве, где собраны фотографии интерьеров Голощапова. На одном из снимков ясно виден висящий в центре стены довольно большой портрет Анны “в виде Заремы”, писанный масляными красками и сильно потемневший.

После написания портрет обрел загадочную самостоятельную жизнь и отправился путешествовать по Европе. Уже в декабре 1831 года он замечен в Праге.

К портрету Ан.Д.Абамелек

Твой образ жил давно в мечтах поэта,

Он в нем нашел знакомые черты;

Как идеал небесной красоты,

Ты им, княжна, давно была воспета!

Прага. 1831 декабря 9/21

Листочек почтовой бумаги с четверостишием забытого ныне поэта Валериана Шемиота Анна аккуратно вклеит в свой альбом.

В ноябре 1832-го так и оставшийся неизвестным стихотворец напишет на листе с видом Дрездена следующие строки:

Под портретом княжны Абамелек

Зарема, у тебя просил я вдохновенья

И прелести твои три дня я созерцал.

Весь мир перед тобой исчез в реке забвенья,

И новый мир чудес на лире я бряцал.

Дрезден, 9/21 ноября 1832 г.

О том, как эти стихи попали в ее альбом, Анна сообщит в письме к дядюшке Христофору Иоакимовичу Лазареву 15 февраля 1833 года: “Недавно дяденька (Лазарь Иоакимович Лазарев. Возможно, именно он был заказчиком портрета? — Е.С.) из Дрездена прислал мне прекрасное четверостишие, сочиненное на портрет мой, изображенный в виде Заремы, и, не называя мне

поэта, требовал и просил, чтобы я в письме изъявила ему свою признательность. Я принуждена была повиноваться...”

В Пушкинском Доме сохранилась копия ее благодарственного письма: “Милостивый государь... Прелестное стихотворение ваше, доставленное мне из Дрездена, коему счастливым и нечаянным случаем послужила я или, лучше сказать, послужил предметом портрет мой, в котором кисть художника искусством заменила недостаток нещедро одаренного природой подлинника, породило во мне живейшее желание изъявить чувство признательности моей... Язык поэзии, в особенности поэзии отечества, был всегда отраден слуху моему... “ Она признается, что часто перечитывает полученные стихи “не из тщеславия..., но для того, чтобы... изведать имя творца оных...”.

Увы, “творца оных” извела она ошибочно, предположив по туманным намекам дядюшки Лазаря авторство добрейшего Василия Андреевича Жуковского. Инкогнито так и осталось не раскрыто. Но в шквале поэтических посвящений, обращенных к Анне в это время, присутствует одно, могущее дать подсказку, возможный намек на автора дрезденского четверостишия.

В “Дамском журнале” за 1832 год был опубликован экспромт, подписанный “Мечтатель”.

Княжне А.Д.Абамелек

Наш Пушкин, Вяземский, Козлов

Тебя осыпали поэзии цветами.

Что после них сказать? Не нахожу я слов!

Скажу простыми лишь стихами:

Твой ум и твой талант дают тебе венец!..

И это суд сердец!

За романтическим псевдонимом скрывался Сергей Николаевич Глинка, писатель, журналист, переводчик, автор своеобразной концепции национального развития России. В начале тридцатых годов он занимался в основном написанием исторических нравоучительных произведений, выпустив в том же 1832 году книгу “Обозрение истории армянского народа”.

Сергей Глинка упоминает имена трех поэтов, осыпавших княжну Абамелек “поэзии цветами”: А.С.Пушкина (его экспромт вписан в альбом Анны 9 апреля 1832 г.), И.И. Козлова (но по состоянию здоровья он не имел возможности путешествовать) и князя П.А.Вяземского. Авторство последнего вполне можно предположить.

Но вернемся к “кочующему” по Европе портрету. Следующим местом его пребывания стал Париж.

К портрету княжны Абамелек

<i>Объехал всю почти Европу:</i>	<i>И все как тень перебежало,</i>
<i>Я видел Лондон и Турин,</i>	<i>И снова я опять хладел.</i>
<i>Венецию и Партенону,</i>	<i>Вдруг вижу образ на холстине,</i>
<i>Я видел Рим, Париж, Берлин,</i>	<i>Заремы дивный блеск очей,</i>
<i>Красавиц видел я немало,</i>	<i>Я сердцем вспыхнул и – отныне</i>
<i>Пред ними таял я и млел,</i>	<i>Пылать навеки буду к ней.</i>

Париж, 29 мая 1833 года

Автором этих строк, каковой “объехал всю Европу”, повидал немало красавиц и собирался “пылать навеки”, был небезызвестный Яков Николаевич Толстой. Бурная биография этого господина до сего дня вызывает неизменный интерес и жаркие споры. Участник Отечественной войны 1812 года, председатель общества “Зеленая лампа”, знакомец Пушкина... Привлеченный заочно к следствию по делу декабристов, он отказался вернуться в Россию и до 1837 года находился за ее пределами на положении эмигранта. Впоследствии, правда, с властями примирился, выполнял “особые” правительственные поручения во Франции (фактически был резидентом внешней разведки) и дослужился до чина тайного советника.

Его послание к юной княжне Абамелек носит следы экспромта, написано на листочке почтовой бумаги с монограммой самой княжны и, как предыдущие два стихотворения, находится в ее альбоме, что с некоторой долей уверенности позволяет предположить личную встречу автора и адресата. Известно также, что с мая 1833 года Анна пребывает за границей. Вместе с матерью и сестрой она сопровождает тяжело больного отца на карлсбадские воды. Но увы, князю Давыду Семеновичу не суждено было вернуться из этого путешествия. Он скончался в Дрездене осенью того же года.

Появление юной армянской княжны в свете вызвало некоторую агитацию вокруг ее персоны. Пленительная южная красота девушки неизменно привлекала внимание, но существовал и еще один немаловажный штрих, обострявший интерес бомонда.

24 июля 1831 года в расходных книгах дома Лазаревых появилась запись: “На счет содержания дома: заплачено в типографию института за бумагу, печатание и переплет повести “Чернец”, переведенной на французский язык княжной А.Д.Абамелек, — 180 руб. 70 коп.”.

В свое время поэма Ивана Ивановича Козлова “Чернец” наделала много шума. Личность автора, драматичность его судьбы поражали современников. Иван Иванович происходил из знатного и старинного рода, был блестяще образован, слыл превосходным собеседником, любителем музыки и поэзии. Достопочтенный Василий Андреевич Жуковский был не только его ближайшим другом, но и литературным наставником. Рок настиг Козлова на подходе к сорокалетнему рубежу — начался прогрессирующий паралич ног, затем произошла трагедия — он ослеп. Именно тогда, в 1821 году, публикуются его первые стихотворения, а через четыре года выходит в свет поэма “Чернец”, встреченная восторженными откликами большинства современных литераторов и публики.

Юная Анна выбирает для перевода на французский язык именно эту поэму. Почему? Возможно, Анну подкупает то, что главным сюжетным мотивом является любовь, утрата ее и попытка смириться с потерей. Душевная драма героя-чернеца заключается в гибели любимой женщины. Он уповает на встречу с возлюбленной за гранью земной юдоли, но обагрят руки кровью недруга и теряет даже эту последнюю надежду. В мятущейся личности чернеца удивительным образом сочетается решительность мстителя и христианское терпение, бешенство страстей и религиозная экзальтация. Герой гибнет в столкновении с жестокой действительностью. Христианские мотивы смирения и покорности несколько снижают накал страстей, но, может статься, именно они привлекли внимание княжны Абамелек. Известно, что, превосходно владея французским, английским и немецким языками, она изучает также греческий для того, чтобы читать на нем Библию и святых Отцов Церкви, познакомиться с Литургией Иоанна Златоуста в греческом подлиннике. Нелишне будет напомнить, что род Абамелек имел священнические корни, и искренно набожная Анна умеет и любит молиться.

Надо признать, что с переводами русской поэзии и прозы на иностранные языки было в те времена, мягко говоря, неблагоприятно. Ксенофонт Полевой еще в 1826 году сетовал: “Русская литература до сих пор еще не породилась со старшими своими предшественницами. ...Из довольноного числа сочинений, переведенных с русского на иностранные языки, многое ли переведено хорошо или даже порядочно?”

В 1831 году в Москве вышла в свет книга “Le moine: Poëme. Ivan Kosloff; Traduit en prose par M-lle la princesse Anne Abamélek”. Поэму Ивана Козлова перевела на французский язык семнадцатилетняя девушка! И перевела весьма порядочно!

Благодарный Козлов откликнулся на публикацию перевода “Чернеца” поэтическими строками:

*В душистой тьме ночных часов
От звезд далеких к нам слетая,
Меж волн серебристых облаков
Мелькает Пери молодая,
И песнь любви она поет,
И нам мила той песни сладость,
Восток горит в твоих очах,
Во взорах неса упоенья,*

*И в грудь она невольно льет
Тревогу чувств, тоску и радость.
Подобно ей, явилась ты
С ее небесными мечтами,
И в блеске той же красоты
С ее улыбкой и слезами.
Напевы сердца на устах,
А в сердце пламень вдохновенья.*

“Пламень вдохновения” подвигнул Анну на еще один эксперимент: она обратилась к творчеству Пушкина, выбрав для перевода стихотворение “Талисман”. Что ж, прекрасная “Зарема” с картины вполне могла вручить возлюбленному именно такой талисман, и как его не хватало Зареме пушкинской!

*Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
“Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.*

*И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя –
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!”*

Перевод оказался так хорош, что Николай Сергеевич Титов, происходивший из известной семьи музыкантов-композиторов, написал к нему музыку. Так в печати еще раз имя Анны появляется рядом с именем Пушкина – “Le talisman. Romance russe. Paroles par A. Pouchkine mises en musique par Titoff, traduites en français par M-lle la Princesse Anne Abamelek”.

Вторжение в литературу дам-писательниц знаменуется в России 70-ми годами XVIII века и вызывает в печати комплиментар-

ные, но снисходительные отклики. “Ибо какой педант, какой варвар осмелится не похвалить того, что нежная, белая рука написала?”, — вопрошал галантный критик на страницах “Московского Меркурия” в 1805 году. Николай Васильевич Карамзин в борьбе за новый литературный язык особую роль отводил именно женщине: “Дамский вкус делался верховным судьей литературы, а образованная, внутренне и внешне грациозная, приобщенная к вершинам культуры женщина — воспитательницей будущих поколений просвещенных россиян”.

Но ко времени литературного дебюта княжны Анны ситуация претерпела изменения. Полным ходом шел процесс профессионализации писательского труда, складывалась журналистика, книжный рынок. Поэтессы и писательницы уже не в диковинку и начинают претендовать на определенное место в русской литературе. Споры вокруг литературного творчества дам разгораются нешуточные. Князь Шаликов в “Дамском журнале” высказывается весьма определенно: “Жить для нашего счастья, быть предельно всех надежд наших: вот их (женщин — *Е.С.*) определение в сем мире”.

Поэтически изысканно поддержит шаликовскую точку зрения будущий деверь Анны Евгений Боратынский:

*Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытыи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летийские струи —
На пальчиках чернила остаются.*

И даже прогрессивно мыслящий Иван Киреевский в статье “О русских писательницах”, искренне радуясь тому, что образованная, мыслящая и просвещенная женщина в России перестала быть редкостью, постоянно сбивается на мадригальный лад, переплетая похвалы литературным дарованиям поэтесс с изысканными комплиментами их женской прелести и красоте. Посвятил он несколько строк и “блестящей переводчице” Анне Абаменек, которая “знаменита красотой именно того, чего недостатком знаменит поэт, ею переводимый” (напомним, что автор “Чернецца” И.И. Козлов был слеп. — *Е.С.*).

В такой накаленной обстановке юная княжна Абаменек вступила на литературное поприще. Она не стала спорить. Занима-

лась только переводами и в результате не оставила ни одной оригинальной собственной поэтической строчки. Увы...

Фурор, произведенный в великосветском обществе, равно как и в литературных кругах, высокое положение семьи привели к тому, что 20 апреля 1832 года Анну “всемилоостивейше пожаловали во фрейлины к ея императорскому величеству”, а в мае она была представлена императрице Александре Федоровне. Затем последовало заграничное путешествие. В Россию она вернулась только в ноябре 1834 года.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ “МАДАМ ВОСТОЧНАЯ ЗВЕЗДА”

Княжне Анне Абамялек двадцать один. Возраст, в те времена говоривший сам за себя. Ты можешь быть прелестна, восхитительна, образованна и умна, но прежде всего — благоразумна. Иначе оглянуться не успеешь, а тебе уже двадцать пять и называют тебя “кандидаткой” в старые девы. Минуло тридцать пять — получи наименование “пожилой”. Сорок лет — время классического возраста “старой” девы. Ну, а ежели доживешь до пятидесяти... вот тогда начнут величать тебя “царь-девицей”! Честь весьма сомнительная. Нет, рассудительные девы торопятся выйти замуж, избегая перешептываний за спиной, сочувственных взглядов или, ежели ты еще и стихами балуешься, насмешливого звания “синего чулка” — blue stockings.

Анна была благоразумна. Сейчас трудно судить, кто устроил ее брак: родители, родственники, знакомые знакомых... Была ли то прихоть изменчивой Фортуны, стрелы легкомысленного проказника Амура или дальновидный расчет. Но в ноябре 1835 года княжна Абамялек венчается с Ираклием Абрамовичем Боратынским.

Ох уж эти братья Боратынские! Их четверо, и каждый примечателен в своем роде.

Самый популярный — занимающий видное место на российском Парнасе старший, Евгений. Кто же не знает певца Финляндии, “Пиров и грусти томной”? “Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством”. Это Пушкин. Виват!

Третий по возрасту, Лев Боратынский, слыл самым остроумным из братьев. “Он был статен, красив, неистощимого веселья... При том литературно образован, поклонник Шиллера, хороший музыкант и певец, вообще натура несколько легкая, но живая и

блестящая. В веселой компании он был неоценим”, — так описывает Льва Боратынского современник.

Младший, Сергей, был самым разносторонне одаренным. Он закончил медико-хирургическую академию, занимался фармакологией, почитался талантливым изобретателем, живописцем, архитектором и музыкантом. В свое время наделал много шума: после скоропостижной кончины известного поэта барона Антона Дельвига взял да и умыкнул его вдову в свою тамбовскую глушь, где тайно обвенчался, не дождавшись окончания срока траура. Что ж, пылкая любовь диктует свои законы. Спустя десятилетия Анна Давыдовна, уже Боратынская, напишет воспоминания о своей очаровательной невестке Софье Михайловне.

Самой Анне достался второй по старшинству — Ираклий. Он единственный из братьев сделает блестящую карьеру, пойдя по стопам своего отца, генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Боратынского, ревностно служившего покойному императору Павлу I.

За плечами Ираклия Абрамовича престижнейший Пажеский корпус и прекрасный формулярный список. Он участвовал в турецкой кампании 1828 года, отличился в боях и был награжден золотой саблей “За храбрость”, российскими и польскими орденами и знаками отличия.

7 июня 1831 года Ираклий был пожалован флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству. В 1834 году он был переведен в лейб-гвардии Гусарский полк, тот самый, в котором за двадцать лет до сего нес службу князь Давыд Абамелек, а ныне числился его сын — корнет Семен Давыдович Абамелек. Так протянулась ниточка к поворотному моменту Ираклиевой судьбы.

В 1835 году Боратынскому тридцать три года, он делает успешную карьеру, близок к императорскому дому, не чужд литературных интересов и связей, знаком с Пушкиным, Дельвигом, Кюхельбекером, Вяземским. В пору беспечной “вакхической” юности Антон Дельвиг посвятит ему идиллию:

*Мы еще молоды, Лидий! Вкруг шеи кудри вьются;
Рдеют, как яблоко, щеки, и свежие губы алеют
В быстрые дни молодых поцелуев. Но, скоро ль, не скоро ль,
Все ж мы, настух, состаримся, все ж подурнем; а Дафна,
Эта шалунья, насмешница, вдруг подрастет и, как роза,
Вешним утроем расцветшая, нас ослепит красотой...*

В некотором роде предсказание сбылось. Шалунья и насмешница расцвела, а “дни молодых поцелуев” миновали. Ираклию

пора было выбрать спутницу жизни. Как писал Пушкин в одном из писем другу: “В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди”.

Фортуна была благосклонна: Ираклий заполучил обворожительную княжну Анну Давыдовну Абамелек. Разве можно сравнить эту блестящую партию с “благоразумным” браком его старшего брата Евгения или несколько скандальной женитьбой младшего Сергея? Матушка Александра Федоровна была довольна.

Небезызвестный почт-директор Александр Булгаков писал дочери из Москвы: “Абамелек выходит замуж за Баратынского, адъютанта государя... Одни говорят, что они соответствуют друг другу, другие — что нет...”. История их двадцатилетнего супружества безусловно подтвердит мнение первых.

Можно предположить, что именно с этим судьбоносным событием связано появление акварельного портрета Анны Давыдовны. Некоторое представление, хотя и весьма ироническое, о предсвадебных обычаях того времени можно почерпнуть из нашумевшего романа Владимира Соллогуба “Тарантас”, увидевшего свет в 1845 году: “Но ... свадьба — половина банкротства... Во-первых, жениху предстоят непереманные подарки. Портрет, писанный Соколовым, браслет пышный, браслет чувствительный, турецкая шаль, брильянтовые украшения... Он... заготавливает сервизы, бронзы, фарфоры...” Обратим внимание на “портрет” (невеста также заказывала свое изображение для суженого. — *Е.С.*), напомним “сервизы” и “фарфор”.

Заказ на самый известный ныне портрет Анны Давыдовны был сделан не знаменитому Петру Федоровичу Соколову, коего считают родоначальником жанра камерного акварельного портрета, а не менее популярному в то время Александру Павловичу Брюллову, старшему брату “Великого Карла”. 30-е годы XIX века стали пиком его славы как портретиста, хотя генеральной линией творчества всегда оставалась архитектура. Перестройка Мраморного дворца ко дню свадьбы великого князя Константина Николаевича и Зимнего дворца после пожара 1837 года, возведение здания Александровской больницы, Михайловского театра, Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, лютеранской церкви Св. Петра в Петербурге, готической церкви для графини Палье в Парголово, дома графини Самойловой в Славянке и, наконец, строительство уникальной Пулковской обсерватории — таковы проекты, принесшие Александру Павловичу всемирную славу. Не меньших высот Брюллов-старший достигает и как художник-портретист. Престижные заказы

от членов императорского дома, представителей знати делают его имя “модным” в свете. Семья Абамелек останавливает свой выбор на нем.

Остается открытым вопрос датировки портрета. Голубой фрейлинский бант с шифром на плече Анны дает нижнюю границу написания — весна 1832 года, именно тогда она была представлена императрице в качестве фрейлины. Но уже в мае этого года Анна отправляется с родителями за границу и возвращается лишь в конце 1834-го. Можно лишь предположить, что портрет был написан в 1835-м или в начале 1836 года. Обращает на себя внимание то, что Анна с портрета еще “Абамелек”.

Она одета и причесана по всем канонам замысловатой, несколько кукольной моды эпохи бидермейера: тонкая талия, перетянутая широким поясом с большой пряжкой, подчеркнутая линией глубокого декольте и пышными рукавами белого платья. На голове сложная прическа, в основе своей имеющая “Аполлонов узел” — высокое сооружение из поддельных волос. Безусловно привлекают внимание драгоценности: перед нами так называемая парюра — набор украшений, заказанных, как правило, у одного мастера или подобранных по материалу, цветовому и орнаментальному оформлению. “Малую” парюру из трех-четырех украшений можно было носить каждый день, а вот “большая”, включавшая не только серьги, кольца и браслеты, но и ожерелье, украшение для волос, драгоценные пуговицы и пряжки, брошь, кулон, надевалась только по исключительно торжественным или церемониальным случаям.

На Анне “большая” парюра и весьма, весьма необычная! Во-первых, в парадном украшении использован “дневной” камень — коралл. Во-вторых, доминируют не камни, а фактура самих драгоценностей. В-третьих, форма золотых украшений уникальна и напоминает изделия знаменитого итальянского ювелира Пио Фортунатто Каstellани, черпавшего вдохновение в археологических древностях греческой и этрусской культуры.

Кто заказал эти драгоценности для Анны? Или они перешли к ней по наследству? Нравятся ли они хозяйке? На портрете Анна молода, воздушна и... печальна. Самая грустная Брюлловская модель. О чем грустить девушке, лелеемой семьей, воспеваемой поэтами, обласканной светом? Портрет молчит.

Письма самой Анны, уже Боратынской, расскажут, что она в эти годы “счастлива и довольна”. Следуя за мужем, первое лето после свадьбы проведет в военных лагерях лейб-гвардии Гусарского полка под Красным Селом, где также служит ее брат Семен

Абамелек и корнет Михаил Лермонтов. "...Веду жизнь совершенно боевую. Живу в лагере в избе крестьянской, тесной, душной, но, к счастью моему, чистой. Слышу только звук трубы и оружий... но, несмотря на шумное однообразие жизни сей, я здесь, как и всюду, счастлива и довольна, когда муж мой близ меня... Я так довольна своей судьбой, что не завидую ни богатству, ни почестям. Несмотря на то, что я быть бы могла в большом свете. Мы всегда удостоены вниманием царским, и в особенности милостями императрицы, и всегда получаем в обществе самый приветливый прием... Рождение императора и императрицы провели мы в Петергофе. Государыня ко мне необыкновенно милостива... Граф Виельгорский мне сказал, что я буду приглашена следовать за Двором в Гатчину на трехдневные маневры. Несмотря на хлопоты беспрестанных переселений, я очень довольна счастьем сей, в особенности потому, что буду там видеть Ираклия. С ним расставаться, я думаю, что не привыкну никогда".

Анна — дитя своей эпохи и своего круга. Несмотря на декларируемое равнодушие к светской жизни, молодая женщина (ей лишь 22!) искушаема ее вихрем и блеском императорского двора, она уже вкусила их плодов и вскоре погрузится в блестящий водоворот. И все же долг для нее превышает всего, она как нитка за иголкой будет следовать за мужем, куда бы ни забросила его беспокойная военная судьба.

Звезда Анны Боратынской взошла на аристократическом небосклоне Северной Пальмиры. "Сама по себе и сама собою Анна — сиречь благодать, прелесть, снисхождение и очарование. Давыдовна по отцу — то есть одаренная сладкозвучием, красноречием, одолжительностью, убедительностью и очаровательностью. По мужу Баратынская — то есть все, что есть доброго, благородного, чистого, дружественного и хорошего", — восторгался ею Иван Петрович Мятлев, поэт ныне почти забытый, но в ту эпоху весьма популярный. И хотя после замужества Анны поток поэтических посланий несколько оскудел, слава ее как одной из красивейших женщин России только разрасталась. Образованный и наблюдательный полковник Фридрих Гагерн, посетив Россию в свите принца Александра, старшего сына принца Оранского, писал в своем дневнике о "мадам Восточной звезде": "...Красивейшие суть: г-жи Крюденер, Пашкова, княгиня Юсупова, Бутурлина, потом еще Баратынская (но не Барятинская), армянка по рождению, принцесса Або-Мелик, чисто восточной красоты, черные глаза и шелковистые ресницы которой напоминают нам байроновские идеалы".

Эти годы с 1836-го по 1842-й — пик придворной карьеры Анны: она обласкана представителями императорского дома, живо участвует в придворной жизни и блистает в “живых картинах”. В одной из программ вечера, проходившего в Михайловском дворце, Анна упоминается трижды. Она занята вместе с Федором Толстым в картине Корреджо, затем изображает Юдифь и в финале — участие в “Марии и Зареме” из “Бахчисарайского фонтана”, коронная и с юности наиболее удававшаяся ей роль.

Мучимые страстями женские образы удавались Анне как никому. Чуткая к эстетической стороне жизни Долли Фикельмон, внучка великого М.И.Кутузова и жена посланника австрийского императора, пишет о “драматическом” триумфе Анны Давыдовны: “Княжна Абамелек просто восхитительна в роли Иродиады... Я мало встречала столь поразительных лиц — в этом красном одеянии, с черными, как смоль, волосами, со сверкающими столь мрачным огнем и несколько дикими глазами она напоминала исчадие Ада, ниспосланное для гибели душ, которые предаются ей. Она произвела очень сильное впечатление...”

“Мадам Восточная звезда” угадывается в другом портрете, выполненном неизвестным художником в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века, ныне украшающем стены музея-усадьбы “Мураново” им. Ф.И. Тютчева. На фоне драпированной бархатной портьеры, за которой виднеются небо и горы, изумительной красоты молодая женщина в темном одеянии. Ничто не отвлекает от прекрасного лица, лишь нитка жемчуга перекликается с матовым сиянием кожи, а змейка-браслет с камеей подчеркивает ее бархатистость.

Не к этому ли портрету обращено поэтическое послание племянника Ираклия, Николая Евгеньевича Боратынского, впервые публикуемое в данном исследовании?

*Гляжу на него, вижу взор, думы полн.
Лучами угасших созвездий согрет.
И шлет еще нам светоносные волны
От светочей прежних, которых уж нет!*

*Поведает он про святъни бѣлого!
Храня нам в раздумье незлобный укор,
Уж видит он очерки края иного,
Где всѣ примиряющий встретит он взор.
Казань, 1882 г.*

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ “ГУБЕРНАТОРША”

Сейчас уже трудно сказать наверняка, отчего так внезапно оборвалась блестящая светская карьера при императорском дворе “Восточной звезды” — Анны Давыдовны Боратынской: под сверкающим покровом придворной жизни таятся темные глубины и зияющие бездны, способные в единый миг уничтожить человеческую судьбу. Анна и Иракий не раз были тому свидетелями. В конце 1836 года на глазах у них разворачивалась преддуэльная история Александра Пушкина, зародившаяся в благопристойных великосветских салонах Петербурга и трагически завершившаяся на Черной речке. Через несколько лет в еще одной громкой истории им, пожалуй, придется выступить фигурантами.

1 марта 1840 года за той же самой злосчастной Черной речкой поручик лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов дрался на дуэли с сыном французского посланника при русском дворе Эрнестом де Барантом. Результатом стало дознание, проведенное по высочайшему указанию, и высылка: де Баранта — за пределы России, Лермонтова — на Кавказ. Разговоров вокруг сего происшествия было много, причин столкновения называлось не меньше: от амурных до политических. Как бы то ни было, супруги Боратынские поневоле оказались затронуты этой историей. Во-первых, Михаил Лермонтов был сослуживцем Иракия Абрамовича, поэт даже изобразил его на одной из своих акварелей. Во-вторых, в этом же полку служил князь Семен Абамелек, брат Анны. С Лермонтовым молодого князя связывало увлечение живописью. В-третьих, объединяющим началом станет гостеприимный дом Карамзиных. В-четвертых, можно предположить, что Анна, пользуясь расположением к ней великой княгини Елены Павловны, попыталась смягчить участь поэта. И наконец, во время прощания поэта на Кавказ в марте 1841 года именно Анна Давыдовна получила из рук Лермонтова автограф стихотворения “Новоселье”, который бережно хранила в своем альбоме. Хотя стихи посвящены трагической участи Наполеона Бонапарта, но кажется, что пронизаны они предчувствием близкого ухода самого поэта.

*Забывтый, он угас один —
Один, — замучен мщеньем бесплодным,
Безмолвною и гордою тоской —
И, как простой солдат в плаще своем походном,
Зарыт наемною рукой.*

Спустя несколько месяцев, 15 июля 1841 года на северо-западном склоне Машука судьба подвела роковую черту...

Так или иначе, в следующем году Ираклий Абрамович Боратынский был произведен в генерал-майоры, с назначением на должность ярославского губернатора. Не стоит обманываться — это было “почетное” удаление от императорского двора. Возможно, Анна Давыдовна несколько переусердствовала, заступаясь за опального поэта, и даже высокое покровительство великой княгини Елены Павловны не уберегло ее. Помимо того в бомонде начали курсировать туманные слухи, что причиной сему мог быть великий князь Михаил Павлович, начавший оказывать черноокой красавице слишком уж пристальное внимание. Как бы то ни было, Ярославль — не Тобольск, а перевод по службе — не ссылка. Пора было Анне осваивать новую роль — губернаторши.

О четырехлетнем пребывании Боратынских в Ярославле известно не много, все больше из частных писем: “...Говорят, что их в городе очень любят. Рассказывают о снисходительности и такте моего брата и о приветливости Аннеты, благотворно на всех влияющей. О Полторацких никто не сожалеет. Я возразил, что состояние моего брата не позволяет ему делать для развлечения общества столько, сколько делал его предшественник. Мне отвечали: манеры Ираклия и жены его таковы, что ярославское общество только нынче начинает жить...”, — сообщает матушке Евгений Боратынский в начале 1843 года. Но в официальной истории Ярославля Ираклий Абрамович и Анна Давыдовна не успели оставить заметных следов. Чего не скажешь об их двенадцатилетнем пребывании в Казани, куда Ираклий Боратынский был назначен всемилостейшим повелением в марте 1846 года.

Эх, Казань-городок — Москвы уголок! Прибывший сюда впервые “изумлен многим, но главное... обнаружит здесь утонченное общество, соперничающее с петербургским”, — писал о Казани того времени англичанин Эдвард Турнерелли.

Гвоздем светского сезона 1846 года стало устройство “живых картин”, мода на них докатилась и до Казани. Первые живые картины состоялись в актовом зале университета, сборы пошли в пользу двух бедных воспитанниц Родионовского института благородных девиц. Среди литературных и исторических сюжетов — сцена из “Бахчисарайского фонтана” “Мария и Зарема”. Она обрела популярность и в провинции, но имени Анны уже нет среди исполнительниц. Да она теперь и не Анна, а госпожа генеральша Анна Давыдовна Боратынская, да к тому же губернаторша! Ей тридцать два — возраст, приближающийся, как тогда считали, “к

роковому для красивой женщины рубежу”. Но ведь еще не рубеж! Мужчины продолжают оказывать ей восторженное внимание: “Черные как смоль, волосы, бархатные глаза, с длинными ресницами, орлиный нос, маленький рот с роскошными зубами, великолепная шея с легким, как персик, пушком, гибкая эластичная талия, грация в движениях, обаятельная речь составляли такой восточный тип, какой встречается в действительности как редкое исключение”, — восхищался выпускник Казанского университета, впоследствии сенатор Михаил Веселовский.

О служебной деятельности Ираклия Абрамовича Боратынского на посту казанского губернатора имеется достаточно много официальных свидетельств. Он не был реформатором или держимордой, а спокойно и разумно с всегдашним усердием и тщательностью делал свое дело. Во время правления Боратынского в Казани была сооружена дамба между городом и Адмиралтейской слободой. “Огромная, длиною в пять верст, такая прямая, будто ее строили по бечевке”, — изумлялся Александр Дюма-старший, посетивший Казань в 1858 году. Возведен по проекту придворного архитектора императора Константина Андреевича Тона, автора проекта храма Христа Спасителя в Москве, губернаторский дворец. Отстроено здание театра и училища для девиц духовного звания, а в университетском дворе установлен бронзовый памятник великому поэту, уроженцу Казанской губернии Гавриле Романовичу Державину.

При поддержке Ираклия Боратынского стали выходить “Записки Казанского экономического общества”, журнал “Православный собеседник”. Особое покровительство губернатор оказывал деятельности детских приютов, за что неоднократно получал выражение признательности от государыни. За усердную службу на посту казанского губернатора он получил не один почетный орден.

В свою очередь Анна Давыдовна была не только центром светской жизни Казани, но и активно занималась благотворительной деятельностью, была попечительницей всех женских и детских учебных заведений, а также сиротских приютов, за что неоднократно получала благодарность самой императрицы Александры Федоровны. В годы Крымской войны (1853-1856) Анна Давыдовна активно занималась сбором пожертвований в пользу раненых. За все свои труды и попечения Анна Давыдовна Боратынская в апреле 1856 года была высочайше пожалована орденом Святой Великомученицы Екатерины.

Вскоре после этого события был написан ее парадный портрет. Двадцать лет прошло с момента, как молодая прелестная

девушка с только что полученным фрейлинским бантом позировала знаменитому Александру Брюллову. Для женской прелести — увы! — время быстротечно и неумолимо. Вот уже роковая сорокалетняя черта перейдена, скуднее и почтительнее стали комплименты, все реже во взорах мужчин вспыхивает пламень восхищения. Но она прекрасна — эта статная, полная достоинства, внутренней гармонии и мудрости женщина.

Автором картины считается малоизвестный ныне Афанасий Ульянович Орлов. Художник запечатлел ее в орденском платье серебристого цвета с золотым шитьем. Силуэт Анны Давыдовны светлым пятном выступает на темном фоне интерьера гостини: переливаются мягкие складки платья, матово светятся сквозь прозрачный газовый шарф руки, за спиной глянцево поблескивают листья фикуса, вьется капризный плющ, мягко отсвечивает бархат шторы и кресла. Великолепный парадный портрет, только модель несколько печальна. Впрочем, ощущение легкой меланхолии присутствует почти на всех изображениях Анны Давыдовны.

К этому же времени относится еще один, камерный акварельный портрет Анны Давыдовны, выполненный неизвестным художником и оставляющий ощущение некоторой незаконченности. Огромные глаза, легкая полуулыбка на устах, скромное домашнее платье и веточки плюща, обрамляющие гладкую прическу. Отчего она выбрала именно эти цветы (они мелькнули за ее спиной и на парадном портрете)?

Плющ — вечнозеленое растение, в символическом смысле обозначает бессмертие и вечную жизнь, а еще преданность. На куртуазном языке цветов говорит о гармоничной любви, верности, дружбе и привязанности, а его веточка намекает на желание угодить. Кому предназначался в подарок этот портрет? Из всех ее изображений это проникнуто особым чувством задушевности, гармонии и тихой дружеской ласки. Она не покоряет и не восхищает, она беседует...

*Писали под мою диктовку
Вы на столе облокотясь,
Склонив чудесную головку,
Потупя луч блестящих глаз.*

*Бросала на Ваш профиль южный
Свой отблеск тихая мечта,
И песнь души моей недужной
Шептали милые уста.*

*И данную мне небесами
Я гордо сознала власть,
И поняла, любуясь Вами,
Что я не вправе духом пасть.*

*Что не жалка судьба поэта,
Чье вдохновение могло
Так дивно тронуть сердце это
И это озарить чело.*

*Каролина Павлова
Санкт-Петербург, сентябрь 1858 г.*

КАРТИНА ПЯТАЯ "RUSSIAN LADY"

"1853 года июля 11 дня, я, нижеподписавшийся, сделал сие духовное завещание в том, что в случае смерти моей предоставляю я весь капитал мой как в наличных деньгах, ровно и в билетах Казенных установлений, а также и всю движимость мою жене моей Анне Давыдовне Боратынской.

*Свиты Его Императорского Величества
генерал-майор Ираклий Абрамович сын Боратынский"*

Наикратчайшее сие завещание было составлено Ираклием Абрамовичем за шесть лет до кончины и, насколько мы знаем, изменено не было. Доверие, признательность, любовь, выраженные сухими формулировками официального документа.

Анна похоронит мужа на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге и останется одна... Она никогда не жила одна. Двадцать один год под крылом родителей, почти двадцать пять — рядом с Ираклием. Блестящая пора молодости прошла, ушел в лучший мир надежный и любящий спутник. Остались лишь воспоминания. Жизнь изменилась безвозвратно... А Господь дарует ей еще тридцать лет.

Это тридцатилетие будет богато на события эпохальные: реформа 1861 года, образование дуалистической Австро-Венгерской монархии, франко-прусская война, войны России в Средней Азии, мировой экономический кризис 1873 года, русско-турецкая война 1877-1878, убийство императора Александра II народовольцем Игнатием Гриневицким и восхождение на престол Александра III. Казалось бы, какое прямое отношение имеют эти события к судьбе одинокой бездетной вдовы, время от времени занимающейся поэтическими переводами, но более всего известной как адресат маленького пушкинского шедевра?..

Анне сорок пять. От последующих лет не останется ни одного ее живописного портрета, только фотография, датируемая 1865-м годом. Пожилая дама в темном платье с фрейлинским бантом и орденом Св. Екатерины на левом плече: непринужденная, спокойная поза, величественная осанка, взгляд чуть в сторону. Такой ее будут звать в Бадене. Со времен женитьбы наследника российского трона Александра на Баденской принцессе Луизе на этом модном курорте проводят летнее время представители аристократических семейств.

“Я живу на знаменитых баденских водах, куда заехал только на три дня, — пишет двадцатисемилетний Николай Гоголь матушке, — и откуда уже три недели не могу вырваться. Встретил довольно много знакомых. Больных серьезно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться...” Отдали дань увлечению Баденом Василий Жуковский, Петр Вяземский, Иван Гончаров, Федор Достоевский, Лев Толстой, Иван Тургенев.

Баденская жизнь Анны Давыдовны более всего изучена с точки зрения ее переводческой деятельности. Она весьма удачно переводила на английский язык русских и немецких поэтов, а на русский — стихи английских, немецких и французских авторов, кои печатались большей частью за границей под псевдонимом “by a Russian Lady” и лишь изредка — в русской периодике.

Пора активной публикации переводов, сделанных за многие десятилетия (переводами она занималась и во время замужества, но не предавала их широкой огласке), падает на 70-е годы XIX века. В 1876—77 годах в Бадене вышли “Переводы немецких, английских и французских стихотворений” на русском языке с произведениями Генриха Гейне, Генри Лонгфелло, Томаса Мура. В 1878 году опять же в Бадене появляется в печати книжечка “Translations from Russian and German poets by a Russian lady” (“Переводы русских и немецких поэтов русской леди”) на английском языке, включившая в себя произведения Александра Пушкина, графа Алексея Толстого, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Алексея Апухтина, Ивана Козлова, Генриха Гейне, Эммануила Гейбеля и Фердинанда Фрейлинграта. В письме к Якову Карловичу Гроту 14 мая 1880 года она пишет об этом издании: “Прилагаю при сем маленькую книжечку, плод моих баденских усилий. Вы тут найдете несколько переводов из Пушкина. Я переводила для иностранных друзей то, что помнила наизусть, была одна и судией и корректором своих трудов...”

Но только ли литературная деятельность занимала Анну Давыдовну все эти годы? Обратимся к ее весьма обширной переписке, хранящейся в Российском государственном архиве древних актов.

Помимо уже упомянутой великой княгини Елены Павловны и ее детей в переписке с Анной Давыдовной состояло большинство членов императорской семьи. Но не только российской. Практически все августейшие особы Германии являются респондентами или адресатами ее писем: германская императрица Августа, герцоги и герцогини Баварские, Баденские, Бранденбургские, Гессенские, Мекленбург-Стрелецкие, Вюртембергские, Саксон-

ские и т.д. Список потрясает. Что могло связывать скромную пожилую вдову с особами столь высокого ранга? Можно предположить, что, скорее всего, дела, относящиеся к сфере благотворительности. Но, возможно, были и какие-то иные мотивы: Европа переживала бурные времена.

В 1879 году Анна Давыдовна Боратынская была отмечена Мариинским знаком беспорочной службы первой степени. Награда сия была учреждена императором Николаем I в 1828 году в память покойной матери — императрицы Марии Федоровны и жаловалась дамам за долговременную рачительную и беспорочную службу в учреждениях императрицы, а также в иных благотворительных и воспитательных учреждениях. Золотой с голубою финифтью крест носился на Владимирской ленте на левом плече. Анне шестьдесят пять лет, и красивейшая когда-то женщина России не решится заказать еще один парадный портрет, на котором ее плечо украшали бы уже три официальных банта.

Анна была осколком великой эпохи России, современницей Александра Пушкина. На ее глазах одна веха сменялась другой, но она не была просто очевидцем происходящего. Самобытная натура Анны Давыдовны всегда требовала действия, не позволяя остаться в стороне от событий и замкнуться в собственном мире. Отсюда — отношения с августейшими особами, рвение в делах благотворительных, публикация книг, неизбывный интерес к талантливым людям. Поэты и писатели — Петр Вяземский, Иван Мятлев, граф Алексей Толстой, Иван Тургенев, художник Иван Крамской, композитор Михаил Вильегорский — входят в круг ее респондентов.

Самым дорогим и близким для нее человеком всегда оставался любимый племянник — “милый Сеня”. Семен Семенович Абамелек-Лазарев был одним из богатейших людей России, коллекционером живописи, гобеленов, произведений античного искусства (его коллекция находилась в Риме), путешественником по странам Востока, автором ценнейших археологических работ. Письма Анны Давыдовны, обращенные к племяннику, дышат любовью и особой родственной доверительностью. В одном из них она писала: “Как ни хорошо дома, надо в молодости дышать и внешним воздухом и запастись друзьями на будущее”. Она знала, о чем писала, — жизнь щедро одарила ее друзьями. Увы, друзья уходили один за другим. Ушла великая княгиня Елена Павловна... ушли многие другие... В Бадене ей выпало присутствовать при последних днях Петра Андреевича Вяземского. Именно он стал автором последнего из посвященных ей стихотворений.

А.Д. Боратынской

*Последние я доживаю дни,
На их ущерб смотрю я без печали:
Всё, что могли сказать, они сказали
И дали всё, что могут дать они.*

*Ждать нового от них мне невозможно,
А старое всё знаю наизусть:
Знакомы мне и радость их, и грусть,
И всё, что в них действительно и ложно.*

*Под опытом житейских благ и гроз
Я всё прозрел, прочувствовал, изведал,
Соблазнов всех я сладкий яд отведал,
Вкусил и горечь всех возможных слёз.*

*Что на берег одной волны порывом
Приносится, уносится другой:
Я испытал и зыбь их, и прибой,
Волнуясь их приливом и отливом.*

*Всё это было, и как в смутном сне
Мережатся дневные впечатленья,
Так этих дней минувших отраженья
В туманных образах скользят по мне.*

*Из книги жизни временем сурово
Все лучшие повыдраны листы:
Разрозненных уж не отыщешь ты
И не вплетёшь их в книгу жизни снова.*

*Не поздно ли уж зачитался я?
Кругом меня и сумрак, и молчанье:
“Ещё одно последнее сказанье,
И летопись окончена моя”.*

Гамбурге, 1874

Затем подошел и ее черед. Она скончалась “тихо, без страданий” 13 февраля 1889 года в Петербурге и была похоронена на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга рядом с “милым другом” Ираклием...

У человека две жизни. Первая начинается с его рождения; вторая — с момента осознания потомками его личности как части собственного культурного пространства. Судьба армянской княж-

ны Анны Давыдовны Абамелек оказалась накрепко вплетена в ткань русской, европейской и, конечно, армянской культуры.

*О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностью: были.*

Ф.И.Тютчев



СОДЕРЖАНИЕ

журнала "Литературная Армения" за 2009 г.

ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ

- АБАЗЯН А.** Из цикла "Минуты молчания". *Рассказы*. Перевод Н.Мкртчян. N1
- АДАЛЯН Н.** Вторая смерть чиновника. *Рассказ*. Перевод К.Халатовой. N2
- АРАМАЗД С.** Смерть матери. *Отрывок из романа*. Перевод Г.Кубатьяна. N3
- АРУТЮНЯН С.** Весна по наследству. Облегчи боль, господи. *Рассказы*. Перевод Н.Абрамян. N4
- ГЕВОРКЯН Л.** Как ты, доченька? *Рассказ*. Перевод И.Маркарян. N2
- ГРИН Э.** И приснился ему Арно. Кафе "Встреча". *Рассказы*. N2
- ДАВТЯН В.** Без названия. *Роман-воспоминание*. Перевод С.Товмасын. NN1,2
- ДЖАНИКЯН Г.** Время возвращения. *Эпистолярная повесть*. Перевод Дж.Мирзоян. NN3,4
- ЕРАНЯН О.** История оленя. Обманчивый день. *Рассказы*. Перевод Ж.Шахназарян. N1

- КАРАПЕТЯН Л.** Дом и человек. *Рассказ*. Перевод А.Татевосян. N3
- МАИЛЯН Т.** Осенняя нива. Наш дом. *Рассказы*. Перевод Н.Мкртчян. N4
- МАРТИРОСЯН Т.** Antionyma. *Рассказ*. N3
- МЕЛИК-МАРТИРОСЯН Д.** Плюшевый альбом. *Рассказ-быль*. N4
- ТОПЧЯН А.** Зеркало. Возмездие. *Рассказы*. N4
- ХАНБАБЯН А.** Неофициальное расследование. *Повесть*. N1
- ХАРМАНДАРЯН А.** Рекс. Восьмое чудо света. *Рассказы*. N1
- ХАЧИКЯН Э.** Незванный гость. Вопреки смерти. *Рассказы*. Перевод Л.Захарян. N3
- ШАХНАЗАРЯН Н.** Месть старого таракана. Призрак. *Рассказы*. Перевод С.Авакян. N3

ПОЭЗИЯ

- АВАКЯН А.** Из книги "Слово и цвет". Перевод Г.Баренца. N3

АВАНЕСОВ Ю. Алый парус души. N1
АЛЕКЯН Б. Из книги “Вулканические ночи”. Перевод А.Татевосян. N2
АМБАРЦУМЯН Н. Упрямые слова. Перевод Г.Баренца. N3
АРУСТАМОВ Ю. Сестра моя, Армения. N2
АХВЕРДЯН Г. Дневная свеча. N2
АХВЕРДЯН Э. У постели больного моря. Перевод Г.Баренца. N4
БАРЕНЦ Г. Горы Армении. N4
БОЛОРЧЯН Т. Образ грядущей весны. Перевод Г.Баренца. N3
ВАН С. Из книги “У меня нет имени”. Перевод К.Лазаревой. N2
ВАНАТУР В. Из книги “И будет свет”. Перевод А.Татевосян. N2
ДАВТЯН Г. Монологи. Перевод А.Татевосян. N1
ЗАХРАТ. Толика счастья. Вступительное слово и перевод Г.Кубатьяна. N4
КОСЯН С. В красном шарике крови. Перевод Г.Баренца. N1
МИКОЯН М. И настужь открывается окно. Перевод Г.Баренца. N1
МИЛИТОНЯН Э. Кшиштоф Пендерекки. Перевод А.Налбандяна. N3
МОВСЕС А. Глашатай света. Перевод Г.Кубатьяна. N3
НАНЭ. Страница. Переводы А.Татевосян, К.Лазаревой. N4
ПАЛЬЧИКОВ В. Из армянской поэзии. N2
ПОРЯДОЧНЫЙ А. Серебряная нить. *Отрывки из поэмы.* Вступительное слово К.Геворкяна. N1

ТАМРАЗЯН Р. День освящения винограда. Перевод В.Пальчикова. N4

ШИРОКОВА-ТАМБОВЦЕВА Е. Сладость слова и горечь. N2

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

АВАКЯН Э. Из книги “Мужи и отцы Еревана”. Перевод С.Авакяна. N1

АГАРОНЯН А. Открытие Америки, или Абрикосовый пирог. N4

АСЛАНЯН Е. Исповедь наемника. N1

АЛЕШКОВСКИЙ П. Семьсот лет одиночества. N3

БАЖЕНОВ В. Сергей Параджанов. Встречи. *Воспоминания.* N3

БАЗЯН С. Воин, певец, переводчик. N3

БАЛИОЗЯН А. О жизни, о литературе. Перевод А.Акопяна. N3

ГРИГОРЕНЦ А. Кем была Айастан Геворкян? N2

ГРИГОРЬЯН Э. Посткризисный мир и диаспора. N4

МИКАЭЛЯН Л. Операция “Немезис”. N2

СААКЯН Н. “В Хороссане есть такие двери...” Есенин и Восток. N4

САФРАЗБЕКЯН И. “Покинув отчие края, ушли навек...” N2

СКВОРЦОВА Е. Живые картины Анны Абамелек. N4

ЧТЧЯН А. Эталон качества. Перевод Е.Петросян. N1

ЧОЛАКЯН М. Древнейшие университеты. N2

ШАХАЗИЗ Е. Маринист Ованес Айвазовский. Перевод и примечания Г.Кубатьяна. N1

ДИАСПОРА В ЛИЦАХ

КАРАПЕТЯН Г. Армянин, взо-

шедший на атомный Олимп. N2

ЛАЙЗАН И. Три дома Александра Героняна. N3

**КРИТИКА,
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**

АНТОНЯН Л. Отблески вселенной. N1

ДЖАНПОЛАДЯН М. “Рука моя уйдет, а письма останутся...” N1

КАЗАРЯН В. Прежде всего — чистый воздух. Публицистика Анаит Саинян. N2



●

Сдано в набор 20.10.2009. Подписано к печати 19.12.2009.
Формат 84x108 1/36. Офсетная печать.
Бумага типографская № 1. Печ. л. 12.
Заказ № 36. Регистрационный номер 43.

Адрес редакции:
375019, Ереван, пр. Баграмяна, 3.
Телефоны: 56-35-57, 56-36-66, 56-35-58.

Отпечатано в типографии ООО “ЗАНГАК-97”

●